

Иван Лажечников

# Басурман



Иван Лажечников

**Басурман**

«Public Domain»

1838

## **Лажечников И. И.**

Басурман / И. И. Лажечников — «Public Domain», 1838

И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «...поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

## Содержание

ПРОЛОГ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	11
Глава I	11
Глава II	17
Глава III	22
Глава IV	30
Глава V	34
Глава VI	38
Глава VII	43
Глава VIII	47
Глава IX	55
Глава X	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ

## БАСУРМАН

*Благословите, братцы, старину сказать.*  
*Сахаров*

### ПРОЛОГ

*Божиею милостию, радуйся и здравствуй, господин и сын наш,  
князь великой, Дмитрий Иванович, всяя Руси... на многая лета!*  
*Слова митрополита по случаю венчания на великокняжение  
Дмитрия Иоанновича, внука Иоанна III*

Это было 27 октября 1505 года. Будто к венчанию царя Москва снарядилась и изукрасилась. Собор Успенский, церковь Благовещения, Грановитая палата, Теремный дворец, Кремль с своими стрельницами, множество каменных церквей и домов, рассыпанных по городу, – все это, только что вышедшее из-под рук искусных зодчих, носило на себе печать свежести и новизны, как бы возникло в один день волею всемогущего. Действительно, все это было сотворено в короткое время гением Иоанна III. Кто оставил бы Москву за тридцать лет бедною, ничтожною, похожею на большое село, огороженное детинцем, не узнал бы ее, увидав теперь. Так же скоро и вся Русь поднялась на ноги по одному молодецкому окрику этого гения. Взяв исполина-младенца под свою царскую опеку, он сорвал с него пелены и не по годам, а по часам воспитал его на богатырство. Новгород и Псков, не ломавшие ни перед кем шапки, сняли ее перед ним, да еще принесли в ней свою волю и золото; иго ханское свержено и переброшено за рубеж земли русской; Казань хотя отыгрывалась еще от великого ловчего, но отыгрывалась, как волчица, которой некуда утечь; уделы сплавлены и выкованы в один могучий особняк, и тот, кто все это сотворил, первый из русских властителей воплотил в себе идею царя.

Однако ж 27 октября 1505 года изукрашенная им Москва готовилась не к радостному, а печальному торжеству. Иоанн, изнемогая и духом и телом, лежал на смертном одре. Он забывал свои подвиги, он помнил только грехи свои и каялся в них.

Было время к вечеру. В храмах горели одинокие лампы; сквозь слюду и пузыри окон светились в домах огни, зажженные верою или нуждою. Нигде народная любовь не теплила их, потому что народ не понимал заслуг Великого и не любил его за нововведения. В одном углу казенного двора черная изба позднее других домов осветилась слабым огоньком. На пузырную оболочку окна ее железная решетка с ершами отбросила клетчатую тень, которую, однако ж, пестрила точка, то блестящая, как искра, то вьющая струю пара. Знать, узник провертел отверстие в пузыре, чтобы, украдкою от своего сторожа, глядеть на свет божий.

Это была тюрьма, и в ней на этот раз томился молодой узник. Ему, казалось, не больше двадцати лет. Так молод! Какие же ранние преступления могли привести его сюда? По лицу его не веришь этим преступлениям, не веришь, чтобы бог создал такую обманчивую наружность. Так пригож и благовиден, что, кажется, ни один черный помысел не пробежит по спокойному челу, ни одна страсть не заиграет в его глазах, исполненных любви к ближнему и безмятежной грусти. И между тем статен, величав; как встрепетнется из дремоты своей, как тряхнет черными кудрями, виден забывшийся господин, а не раб. Руки его белы, нежны, словно женские. На косом вороте рубашки горит изумрудная запонка; в сырой закопченной избе на широком прилавке пуховик, с изголовьем из *мисюрской* камки и с шелковым одеялом, а подле постели ларец из белой кости филиграновой работы. Видно, не простой узник!

Не простой, да еще венчанный... И чист делами и помыслами, как житель неземной. Все его преступления в венце, которого он не искал и который надела на него прихоть властителя; никакой крамоле, никакому злу не причастный, он виноват за чужие вины, за честолюбие двух женщин, за коварство царедворцев, за гнев деда на сторонних, не на него ж. Ему назначили царство – и отвели в тюрьму! Он не понимал, почему венчают его, и теперь не понимает, за что его лишили свободы, света божьего, всего, в чем не отказывают и смерду. За него ближние и молиться не смеют вслух.

Это внук Иоанна III, единственное дитя любимого сына его, злополучный Дмитрий Иоаннович.

То сидел он в грустном раздумье, облокотясь на колена и утопив пальцы в чернокудрой голове, то вставал, то ложился. Он метался, как будто дали ему отраву. Никого с ним не было. Одиноким огонек освещал его бедное, несчастное жилище. Тишину избы нарушали капель с потолка или мышь, подбиравшая крохи от трапезы узника. Огонек то замирал, то вспыхивал, и в эти переливы света, казалось, ползли по стене ряды огромных пауков. В самом же деле это были каракульки на разных языках, начертанные углем или гвоздем. Едва можно было разобрать в них: «Matheas», «Марфа, посадница Великого Новгорода», «Будь проклят!», «Liebe Mutter, liebe A...»<sup>1</sup> и еще, еще какие-то слова, разорванные струями, которые текли по стене, или стертые негодованием и невежеством сторожей.

Дверь темницы тихонько отворилась. Дмитрий Иоаннович встрепенулся.

– Афоня! это ты? – радостно спросил он; но, увидав, что принял вошедшего за другого, присовокупил с грустью: – Ах, это ты, Небогатый!.. Что ж нейдет Афоня?.. Мне скучно, мне тошнехонько, меня тоска гложет, будто змея подколотная лежит у сердца. Ведь ты сказал, что будет Афоня, когда огни зажгут в домах?

– Афанасий Никитич никогда не кривит словом, не то что глазом, – сказал дьяк Дмитрия, Небогатый – приставник добрый, услужливый и между тем строгий в исполнении наставлений, данных великим князем, как стеречь внука. (Надо знать, что в это время он же, за болезнь Дмитриева *казначея* и *постельничего*, исполнял их должность. Честь честью князю, хотя и заключенному!..) – Успокойся, Дмитрий Иванович, голубчик мой! Уж конечно, скоро придет наш краснобай. Ты сам ведаешь, хил становится, худо видит, так бредет себе ошупью. А ты покуда, милое дитятко мое, поиграй, потешься своими игрушками. Присядь себе хорошенько на постелюшке; я подам тебе твой ларец.

И Дмитрий Иванович, дитя, которому было за двадцать лет, от скуки, его томившей, исполнил тотчас предложение своего дьяка, сел с ногами на постель, взял костяной ларец к себе на колена и отпер его ключом, который висел у него на поясе. Понемногу, одна за другою, выходили на свет божий дорогие вещицы, заключенные в этом ларце. Княжич подносил к огню то цепь золотую с медвежьими головками или чешуйчатый золотой пояс, то жуковины (перстни) яхонтовые и изумрудные, то крестики, монисты, запястья, запонки драгоценные; любовался ими, надевал ожерелья себе на шею и спрашивал дьяка, идут ли они к нему; брал зерна бурмицкие и лалы в горсть, пускал их, будто дождь, сквозь пальцы, тешился их игрою, как настоящее дитя, – и вдруг, услышав голос в ближней комнате, бросил все кое-как в ларец. Лицо его просияло.

– Это Афоня! – молвил он, отдавая ларец дьяку, и слез с постели.

– Запри, Дмитрий Иванович! – сказал с твердостью Небогатый, – без того не приму.

Проворно щелкнул ключ в ларце; дверь отворилась, и вошел в избу тюремную старичок небольшого роста, сгорбившийся под ношею лет; ими золотилось уже серебро волос его. От маковки головы до конца век левого глаза врезался глубокий шрам, опустивший таким образом над этим глазом вечную занавеску; зато другой глаз вправлен был в свое место, как дра-

<sup>1</sup> Дорогая мать, дорогая А... (нем.)

гоценный камень чудной воды, потому что блистал огнем необыкновенным и, казалось, смотрел за себя и своего бедного собрата. Сын не встречает ласковее отца нежно любимого, как встретил старика Дмитрий Иванович. Радость горела в очах царевича, в каждом движении его. Он принимал от гостя посох, стряхал с него порошинки снега, обнимал его, усаживал на почетное место своей постели. А гость был не иной кто, как тверской купец Афанасий Никитин, купец без торговли, без денег, убогий, но богатый сведениями, собранными им на отважном пути в Индию, богатый опытами и вымыслами, которые он, сверх того, умел украшать сладкою, вкрадчивою речью. Он жил пособиями других и не был ни у кого в долгу: богатым платил своими сказками, а бедных дарил ими. Ему позволено было посещать великого князя Дмитрия Ивановича (которого, однако ж, запрещено было называть великим князем). Можно судить, как он наполнял ужасную пустоту его заключения и как поэтому был дорог для него. Что ж давал ему за труды Дмитрий? Много, очень много для доброго сердца: свои радости, единственные, какие оставались у него в свете, – и эту награду тверитянин не променял бы на золото. Как-то раз хотел царевич подарить ему дорогую вещицу из своего костяного ларца; но дьяк с бережью напомнил узнику, что все вещи в ларце – его, что он может играть ими, сколько душе угодно, да располагать ими не волен.

Вчера Афанасий Никитин начал современную ему повесть о *немчине*, прозванном *басурманом*. Ныне, усевшись, продолжал ее. Речь его текла, как песнь соловушки, которого можно заслушаться от зари вечерней до утренней, не смыкая глаз. Жадно внимал царевич рассказчику; рдели щеки его, и нередко струились по ним слезы. Далеко, очень далеко уносился он из тюрьмы своей, и только по временам грубая брань сторожей за перегородкою напоминала ему горькую сущность. Между тем дьяк Небогатый бегло поскрипывал перышком; листы, склеенные вдоль один за другим, уписывались чудными знаками и свивались в огромный столбец. Он писал со слов Афанасия Никитина *Сказание о некоем немчине, иже прозван бе бесерменом*.

Вдруг, среди рассказа, вбежал в тюрьму дворецкий великого князя.

– Иван Васильевич готовится отдать богу душу, – сказал он торопливо, – он сильно печаловался о тебе и послал за тобой. Поспешай.

Судорожно затрепетал княжич. По лицу его, которое сделалось подобно белому плату, пробежала какая-то дума; она вспыхнула во взорах его. О, это была дума раздольная!.. Свобода... венец... народ... милости... может быть, и казнь... чего не было в ней? Узник, дитя, только что игравший цветными камушками, стал великим князем всея Руси!

Иоанн еще земной властитель на смертном одре; еще смерть не сковала уст его, и эти уста могут назначить ему преемника. Мысль о будущей жизни, раскаяние, свидание со внуком, которого он сам добровольно венчал на царство и которого привели из тюрьмы, какую силу должны иметь над волею умирающего!

Княжичу подали шапку, и он, в чем был, сопровождаемый дьяком и приставами, поспешил в палаты великокняжеские. В сенях встретили его рыдания ближних и слуг великого князя. «Сталось... дед умер!» – подумал он, и сердце его упало, шаги запнулись.

Появление Дмитрия Ивановича во дворце великокняжеском остановило на время общую скорбь, настоящую и мнимую. Неожданность, новость предмета, чудная судьба княжича, сострадание, мысль о том, что он, может статься, будет властителем Руси, сковали на миг умы и сердца дворчан. Но и в это время между бородками были умные головы; тонкие дальновидные расчеты, называемые ныне политикою, так же как и ныне, часто били, наверное, вместе с судьбою, хотя иногда, так же как и в наши дни, подшибались могучею рукою providения.

Расчеты эти восторжествовали над минутным недоумением; плач и рыдания опять начались и сообщались толпе. Только один голос, посреди причитаний изученной скорби, осмелился возвыситься над ними:

– Поспешай, батюшка, родимый наш... за тобой послано уж немалое время... Иван Васильевич еще жив... Благослови тебя господь на великокняжение!

Этот голос одушевил княжича; но когда ему надо было вступить в *постельную хоромину*, где лежал умирающий, силы его начали упадать. Дверь отворилась; он прирос к порогу...

Иоанну оставалось жить несколько минут. Казалось, смерть ждала только прихода внука его, чтобы дать ему отходную. У постели его стояли сыновья, митрополит, любимые бояре, близкие люди.

– Сюда... ко мне, Дмитрий!.. милый внук мой!.. – сказал великий князь, увидав его сквозь смертный туман.

Дмитрий Иванович бросился к одру, припал на колена, лобызал хладеющую руку деда, орошал ее слезами. Умирающий, будто силою гальванизма, приподнял голову, положил одну руку на голову внука, другою благословил его, потом произнес задыхающимся голосом:

– Я согрешил перед богом и тобою... Прости мне... прости... Господь и я венчали тебя... будь... мо... им...

Лицо Василия Иоанновича искосило завистью и страхом.

Еще одно слово...

Но смерть стояла тут на стороне сильного, и это слово не было произнесено на этом свете. Великий князь Иоанн Васильевич испустил последнее дыхание, припав холодными устами к челу своего внука. Сын его, назначенный им заранее в наследники, тотчас вступил во все права свои.

Дмитрия оттащили от смертного одра, вывели из палат великокняжеских и отвели... опять в темницу.

Там, на постели, отдыхал Афоня крепким сном праведника. Выплакав свое горе, прилег под бок к старцу и злополучный Дмитрий. Царевич и убогий тут уравнились. Одному снились в эту ночь столы великокняжеские и пышный венец, горящий, как жар, на голове его, и приемы послов чужеземных, и смотр многочисленной рати; другому – гостеприимная пальма и ручей в степях Аравии. Убогий проснулся первый, и как изумился он, увидав подле себя царевича! Грустно покачал он седою головой, прослезился и только что начал благословлять его, как послышался веселый, отважный возглас во сне Дмитрия Ивановича:

– Молодцы!.. на татар... на Литву!..

И вслед за тем пробудился княжич. Долго протирал он себе глаза, озирался вокруг себя и потом, упав на грудь Афони, залился слезами:

– Ах, дедушка, дедушка! мне снилось...

Голос его заглушили рыдания.

Скоро и все, что он видел и слышал в палатах великокняжеских, стало казаться ему сонным видением. Только припоминая себе этот тяжкий сон, он чувствовал на челе своем ледяную печать, которую наложили на него уста венценосного мертвеца.

Пришла зима; все было в *черной* избе по-прежнему. Переменились одни декорации: утих однообразный шум капли, исчезла и светлая точка на пузыре одинокого окна; вместо их серебряная кора облепила углы стен и пазы потолка; а светлую точку, сквозь которую узник видел небо с его солнышком и вольных птичек, покрыла тяжелая заплатка. Но Афоня по-прежнему навещал тюрьму. Он досказал свою повесть о немце, которого называли басурманом, и доброписец Небогатый, передав ее исправно бумаге, положил свиток в кованный сундук – внукам на потешение.

Прошло года три с небольшим.

Венчанного узника не стало в тюрьме, и Афанасья Никитина не видать уже было в ней. Знать, Дмитрия Иоанновича выпустили на свободу?.. Да, господь освободил его от всех земных уз. Вот что пишет летописец: «1509 года, 14-го февраля, преставился великой князь Дмитрий



Иоаннович в нуже, в тюрьме». Герберштейн прибавляет: «Думают, что он умер от холода или от голода или задохнулся от дыма».

*Этот пролог требует объяснения. Вот оно.*

В 1834 году, в С...м уезде продано было поместье одного из вельмож екатерининских. Богатая старинная библиотека, в которой (так сказали мне люди, достойные веры) находились исторические сокровища, распродана была кому попало. Приехав на место, бросаюсь к добычникам, чтобы силою золота исхитить у них какую-нибудь непонятую редкость. Надежда тщетная! я опоздал. Большая часть библиотеки – говорят мне в утешение – досталась ст...му мяснику, который допродает книги кипами, на вес.<sup>2</sup> Спешу к нему и получаю ответ, что все уже разобрано.

– Вот остатки, – примолвил он, указывая на книжную рухлядь и полуистлевшие столбцы, – посмотрите, не выберете ли себе чего?

С жадностью и трепетом принимаюсь за работу; погружаюсь в пыль и ветошь бумажную... Тут ничего, там столько же, далее вздор! Опять за розыски... опять утопаю в них... Время летит. Мясник поглядывает на меня, как на сумасшедшего... Наконец (о, буди благословенно жилище его!) развертываю один полуистлевший столбец, пригнетенный сильными из книжного царства в самый угол кладовой. Заглавие очень заманчиво: *Сказание о некоем немчине, иже прозван бе бесерменом*. Читаю текст – сокровище! Перебираю больные листы с осторожностью врача – в сердце столбца итальянская рукопись... В ней все те же имена, как и в русской, с прибавкою нескольких новых, большею частию иностранных; герой повести один и тот же. Видно, писано человеком близким к нему: рассказ дышит особенною к нему любовью и возвышенными чувствами. На заглавном листе стоит только: *Памяти моего друга, Антонио*. Это успел я наскоро рассмотреть в чудном архиве мясника. Не могу скрыть восторга и в жару предлагаю бородатому Лавока самую пригожую, любую Ио из своего стада. Торг разом сложен; привожу столбец домой, дрожа за хилую жизнь его. Разбираю листы русской хартии, как лепестки дорогого цветка, готового облететь. Едва-едва успеваю спасти от разрушения половину ее. Итальянская рукопись более уцелела. Из них-то составил я *«Повесть о басурмане»*, дополнив из истории промежутки, сделанные разрушительным временем.

– Уловки романиста! – скажут, может быть, некоторые из моих читателей и читательниц, – уловки, чтобы заинтересовать нас к своему произведению!

Верьте или нет, мой почтеннейший, и вы, любезнейшая из любезнейших, а может статься, и прекраснейшая; говорите, если вам угодно, что я написал это предисловие именно с целью представить картину Москвы, обновленной и украшенной великим Иоанном – картину, которая не могла попасть в мой роман: возражать не буду. Говорите, что я это сделал, желая поместить хоть где-нибудь романическое, интересное лицо Дмитрия Иоанновича, которое не могло быть поставлено на первом плане романа, занятом уже другим лицом, а на втором плане не умещалось; прибавьте, что я, вследствие всех этих потребностей, придумал и находку рукописей; говорите, что вам угодно: очных ставок делать не могу, доказывать на бумаге справедливость моих показаний не в состоянии и потому, виноватый без вины, готов терпеть ваше осуждение. Что ж делать? сказочникам не в первый раз достается за обманы. Кажется, было кем-то говорено: лишь бы обман был похож на истину и нравился, так и повесть хороша; а розыски исторической полиции здесь не у места. Не оправдываюсь также в двух-трех анахронизмах годов, или времени года, или месяцев, сделанных, когда я пополнял промежутки в рукописях. Они умышленны: легко это заметить. Указывать на них в выносах почел я лишним: стоит развернуть любую историю русскую, чтобы найти, например, что покорение Твери случилось

---

<sup>2</sup> Совершенная правда! Даже в Москве об этом знали библиоманы и просили меня разведать, не сыщется ли какая историческая редкость у мясника. (Здесь и далее примечания автора, кроме перевода иностранных слов.)

осенью, а не летом, что то и то случилось не в одном году, что наказание еретиков было в Новгороде, а не в Москве. Предоставляю детям отыскивать эти вольные и невольные погрешности. Таких анахронизмов (заметьте: не обычаев, не характера времени) никогда не вменю в преступление историческому романисту. Он должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить. Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать труженически все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеями?.. Так понимаю я обязанности исторического романиста. Исполнил ли я их – это дело другое.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава I В БОГЕМИИ

*Разлилась, разлилася  
По лугам вода веиная;  
Унесло, улеяло  
Чадо милое от матери.  
Оставалась родимая  
На крутом, красном бережку;  
Закричит она громким голосом:  
«Воротись, мое дитяtko.  
Воротись, мое милое...»*

#### **Старинная песня**

Знаете ли, где Белая гора? – Не знаете, так я вам скажу: это в Богемии, близ границ саксонских. Сюда поведу вас теперь.

Вот, неподалеку от этой горы, сквозь мрак черной осенней ночи мерещится на берегу Эльбы башня, омытая дождем. Вот в двух щелях, которые называются окнами, засверкал огонек, осветил смиренное феодальное здание и неверно протянул его в реку. Волчья ночь! ни искорки на небе, ни отрадной беловатой полосы, обещающей утро. Мраку нет границ; кажется, и ночи этой не будет конца. Ветер, будто злой дух, рвется в башню; его завываниям вторит вой волков в ближнем кустарнике. Река, расстроенная в своем течении, опрокинулась поперек, осадила подножие башни и силится захлестнуть ее полою своих валов.

В башне все тихо; сквозь решетку и слюду окон едва слышится голос ветра, наигрывающий свои грустные фантазии. Огромная комната освещена пылающим в очаге костром. Везде заметна простота и даже бедность. Украшением служат только рога оленей и несколько оружий, развешанных по стенам. Против огня, опрокинувшись назад на спинку кресел, дремлет восковое лицо старушки; очерк его, пощаженный временем, говорит еще, что она была смолodu красавица, несмотря на темные, местами, пятна, которые, вероятно, болезнь оставила на нем. Изредка печальные думы перебегают по этому лицу; чаще проникнуто оно грустью, и вы, не видя на нем слез, сказали бы, что душа ее вся в слезах. Старушка должна быть хозяйка башни, которую называли некогда замком. В некотором отдалении от нее старик седовласый, высокий, худощавый – служитель, оруженосец или кастелян. Смотри на него, делаешься добрее, благочестивее, становишься ближе к нему. Где такие старики в доме, там, полагать можно, благословение божье. То, сидя на треножной скамейке, он борется со сном и по временам, побежденный им, ныряет головой; то подходит на цыпочках к очагу, чтобы поправить в нем огонь; то вслушивается к стороне двери. Посреди этой воплощенной зимы пал цветок, только что распутившийся: девушка лет шестнадцати – по одежде ее, по месту, которое занимает в углублении комнаты, должно принять ее за служанку. Она сидит на низенькой скамейке за пряжею, вся убранная пылающим огнем. На пригожем лице ее тоже заметна тревога. Взоры нередко допрашивают дверь; при малейшем стуке за нею руки судорожно вздрагивают и перестают прясть. Все тихо в башне; только слышно, как жужжит веретено в нетерпеливых руках девушки, как ветер жалобно просится в окно.

Ночь, а не спят обитатели бедного замка! Видно, кого-то поджидают.

Раздался звук рога, и тот перехвачен ветром. Никто не слышал, кроме девушки.

– Батюшка! – сказала она, порвав свою прядь, – Якубек приехал.

И служитель привстал во всю высоту свою.

И старушка, отделив голову от спинки кресел, обратила к небу взоры, исполненные слез. Все в комнате стало ожидание.

Опять заиграл рог, но резче и живее прежнего, и на этот раз взял верх над неугомонною стихией.

На всех лицах означилась душевная тревога; грудь девушки заволновалась.

– Что ж не посветишь ему, Ян? – сказала старушка.

– Остолбенел от радости, госпожа баронесса! – отвечал служитель и спешил поднести к огню светильню железной лампы, налитой жиром, которую успела подать ему девушка. Но приезжий, видно, был не мешок: дверь отворилась, и вошел в комнату малый лет двадцати, пригожий и проворный. Взгляд любви на девушку, поклон баронессе Эренштейн (так звали владительницу бедного замка), мокрую шляпу и большие рукавицы с раструбами в ноги к своей любезной, рог с плеч долой, и начал расстегивать лосиную броню, ограждавшую грудь его.

– Все ли здорово, наш малый? – спросила баронесса дрожащим голосом и, если б не боялась унизить свое рождение, готова была броситься на шею вестнику.

– Слава богу, милостивая госпожа, слава богу! Поклонов от молодого господина несть числа, – отвечал приезжий. – Только ночь хоть глаз выколи; едешь, едешь и наедешь на сук или на пень. А нечистых не оберешься на перекрестке у Белой горы, где недавно убаюкали проезжих: так и норовят на крестец лошади да вскачь с тобою. Один загнал было меня прямо в Эльбу.

Старый служитель покачал головой, давая ему знать, что он болтает вздор.

– Ты прочел бы молитву пресвятой Лореттской деве, – перебила баронесса.

– Молитвами богородицы и спасся я от купанья... Когда бы не ваш приказ скакать сюда, лишь провожу молодого господина, да... (тут он умильно взглянул на девушку), да не усердие обрадовать восточкою о нем, так ночевал бы в последней деревне. А дождь, дождь так и лил, как из кадушки.

– Бедный Якубек! ты, чай, промок насквозь, – сказала баронесса. «Погрейся у огня», – хотела она примолвить, но, увидев, что он вытащил из-за пазухи бумагу, исправно сложенную и перевязанную крест-накрест зеленым шнурком за восковою печатью, едва могла произнести:

– Письмо от него!

Дрожащими руками схватила она послание и прижала к иссохшей груди; потом посмотрела на него, любовалась им и спрятала на груди, ощупывая, хорошо ли ему тут будет.

Почему ж не спешила прочесть драгоценное послание?

Потому... потому что баронесса не умела читать (заметьте, это было к концу XV века).

Якубек с радостным видом вручил еще своей госпоже кошелек, туго набитый; за ним-то он так много хлопотал около себя.

– Такой добрый молодой господин, – сказал он, отдавая это бремя, – по всему видно было, боялся не столько за деньги, сколько за меня. Такой добрый! А не даст себе на ногу наступить. Видно, рыцарская кровь поговаривает в нем, даром лек...

Тут Ян не выдержал и с сердцем дернул рассказчика за рукав, так что тот закусил себе язык. Между тем баронесса держала кошелек и, смотря на него, плакала. Какую ужасную повесть прочли бы в этих слезах, если бы перевести их на язык! Потом, как бы одумавшись, отерла слезы и начала расспрашивать Якубка, как доехал до Липецка сын ее (о нем-то были все заботы), что там делал, как, с кем отправился в путь.

Этих спросов только и дожидался Якубек, чтобы почесать язык.

– Ехали мы подобиру-поздорову, – начал он так. – Только в одном бору, частом и темном, как черная щетина, выставили было молодцы белки своих глаз, да мы были людны, сами зубасты и показали им одни хвосты наших коней. Да еще...

Встревоженная баронесса стала со страхом прислушиваться.

– В одной гостинице... проклятая хозяйка, еще и молодая!.. подала нам ветчины... поверите ли, милостивая госпожа, ржавчины на ней, как на старом оружии, что лежит в кладовой. Молодой господин не ел, проглотил кусочек сухаря, обмочив его в воду; а меня дернуло покушаться на ветчину... так и теперь от одного помышления...

– Говори дело, Якубек! – перебил сердито старый служитель. – Коли станешь молоть всякий вздор, так речи твоей не будет конца, как Дунаю.

– Пускай малый говорит себе, что вздумает, – сказала баронесса, для которой и малейшие подробности путешествия были занимательны.

– Спасибо, господин Яне, – произнес смущенный рассказчик, отвесив поклон старому служителю, – поправили вовремя деревенщину. Вот видите, вы живали при покойном бароне...

При слове «покойном» легкое содрогание означилось на губах баронессы.

– Живали в больших городах, видали императора и церковь святого Стефана, так слова даром не пророните, все равно что розенобель. А мы отродясь впервой выехали в Липецк... ахти, что за город! (тут, опомнясь, он кивнул головой и замахал рукою, как будто отгонял мух) сыпшем себе глупые речи, словно медные шеллехи. Вот видите, добрая госпожа, – продолжал он, обратясь к старушке, – ехали мы благополучно. Только дорогой его милость все скучал об вас, то и дело наказывал мне и просил: смотри, Якубек, служите верно, усердно матушке, как дети ее. Разбогатею – не забуду вас. Об Яне не беспокоюсь, – молвил он, – старик положит за нее душу свою. (Слеза блеснула на реснице старика, между тем как улыбка судорожно промелькнула на губах.) Но вы молоды... Он говорил мне все: вы, наверное, разумел тут и... гм! коли позволишь, господин Яне, сказать...

Тут он поклонился, взглянув очень умильно на девушку. Покраснев, как пунцовый мак, она что-то пошарила около себя и вышла будто за тем, чего не нашла.

– Я разгадаю эту загадку, – молвила баронесса ласковым голосом, – Антон разумел тут и Любушу.

– Добрый молодой господин, – продолжал парень, – обо мне не забыл... И по дороге к Липецку, и как отъезжать изволил, наказывал мне строго-настрого: не забудь, Якубек, смотри, скажи-де матушке, я обещал женить вас... Матушка и добрый наш Ян, верно, не откажут мне...

– Я в душе давно благословила вас, мои друзья. Что скажет отец?

– Сына у меня нет, так ты будешь мне сыном, – произнес старик. – Только благословения не дам, пока не доскажешь вестей о молодом господине без прибавок о себе.

Якубек едва не прыгал от радости, осмелился поцеловать руку у баронессы, поцеловал в плечо своего будущего тестя, потом, приняв степенный вид, будто взошел на кафедру, повел свой рассказ о молодом Эренштейне.

– В Липецке нас только и дожидались... нас? то есть его милость, хотел я сказать... Въехали мы в дом. «Господи! – думал я. – Уж не сам ли король королей тут живет!» Десять башен поставь рядом, разве выйдет такой дом: посмотришь на трубы, шапка валится, а войдешь в него – запутаешься, как в незнакомом лесу. Комнаты были готовы. Тотчас же пришел к господину Антону посол московитский, подал ему руку и говорил очень, очень ласково: и что государь его будет весьма рад молодому нашему господину, и что будет содержать его в великой чести, милости и богатстве. Диву дался я! Господин ничего почти не понимал из речей посла; переводил ему все какой-то итальянец, живавший уже в Московии. А я, так и нижешь каждое словечко, будто на нитку, редкое проронил, разве-разве уж какое мудреное, не по-нашему сказано. Посол, ни дать ни взять, по-чешски говорит. Гадал я сначала, не по-чешски ли выучился. Ан нет, и слуга его так говорит; вишь, это так по-московски. Посол молодому господину сам молвил: чехи с московитами были одной матери детки, да потом войнами разбиты врозь. «Эдак, – думал я, – легко и мне махнуть в переводчики...»

– Ты забыл, – перебил, смеясь, Ян, – ведь переводчику надо разуместь и по-таковски, покаковски говорит тот, для кого переводишь... Понимаешь?

– И впрямь! Экой я простак!.. Вот, примерно сказать, бык с бараном хотели б кой о чем переговорить друг с другом; по-бараньи-то понимаю, и баран меня, а по-быковски не знаю, и станешь в тупик.

Невольно улыбнулась баронесса при этом сравнении.

– Хорошо, хорошо! – сказал Ян. – Только договаривай о молодом господине, а то разом залетишь за какой-нибудь вороной под небеса.

– Не заботьтесь, господин Яне, хоть и глазею по сторонам, а все-таки держусь крепко за полы молодого барона.

– Уж не вздумал ли дорбгой называть Антона бароном! – сказала старушка с видом встревоженным. – Тебе это строго запрещено.

– Не хочу солгать, милостивая госпожа! Только раз согрешил, нечаянно ослушался, сорвалось с языка. Зато мигом оправился: «Не подумайте, – молвил я ему, – что вас называю бароном потому, что вы барон; а эдак у нас чехи и дейтчи называют всех своих господ, так и я за ними туда ж по привычке... Вот эдак мы все честим и вашу матушку, любя ее». Нет! я себе на уме! Как впросак попаду, так другого не позову вытащить.

– Спасибо, Якубек! Ну, что ж с вами было в Липецке?

– Вот нанесли от посла молодому господину шкур звериных, московитских: все куницы да белки, и наклали в горнице целую гору. «Это все от великого князя в задаток», – сказал переводчик. Куда нам это! не успел, кажись, вымолвить господин мой, как налетели купцы, словно голодные волки, послышав мертвое тело, и начали торговаться. Разом наклали кучку серебра и золота на стол да шкурки и унесли. Только вам изволил молодой господин прислать с десяток куниц да мне пожаловал белочек с десяток. «Невесте твоей, – молвил он, – на зимний наряд». Тут пришел к нему извозчик, что повез его, еврей...

– Еврей!.. – воскликнула баронесса, всплеснув руками и подняв глаза к небу. – Мати божья! храни его под милостивым покровом своим! Ангелы господни! отгоните от него всякую недобрую силу!

– Я сам было испугался, что поганый жидок повезет молодого господина; да как дело распуталось, так и у меня на груди стало легче. Извозчик, лишь увидел его, бросился целовать полы его епанчи. «Ты мой благодетель, спаситель! – говорил он. – Помнишь, как в Праге школьники затравили было меня огромными собаками? Впились уж в меня насмерть; а ты бросился на них, повалил их замертво кинжалом, да и школьников поколотил. Никогда не забуду твоего добра; пускай тогда забудет меня бог Иакова и бог Авраама! В Москве у меня много приятелей, сильных, знатных людей: молви мне лишь слово, к твоим услугам! Нужно ли тебе денег? Скажи: Захарий, мне надо столько и столько, и я принесу тебе их во тьме ночной, затаю свои шаги, свое дыхание, чтобы не видали, не слышали, что ты получаешь их от жида». Ничего не понимал я из его речи, только видел – еврей бьет себя в грудь и чуть не плачет и опять примется целовать полы господской епанчи. А все это перевел мне после молодой господин, чтобы я вам пересказал слово в слово. «Матушке будет легче, если она это проведает, – молвил он, – Захарию верю; он меня не обманет. Да и посол за него ручается: он-де то и дело бывает в Москве, и все знают его там за честного человека. С ним и писать можно к матушке». Наконец собрались в дорогу. Ехало их много: тут были разные мастеровые (легкая краска набежала на лицо баронессы)... и те, что льют всякое дело из меди, и такие, что строят каменные палаты и церкви, и не перечтешь всех, какие были. Разместились по повозкам. Я проводил господина за город. И стал он мне опять наказывать служить вам верно, усердно, как бы он сам служил вам, и сто раз повторял это. За городом остановилась его повозка. Тут простился со мною, не почуждался обнять меня. «Приведет ли бог увидеться!» – молвил он и заплакал. Последнее слово его все было об вас... Повозка тронулась, а он все стоял на передке и долго кивал мне и

махал рукою, будто просил передать вам его поклоны. Я не трогался с места, а он, мой голубчик, дальше и дальше, и скрылся, словно канул на дно... От сердца что-то оторвало... Хотел бы воротить его, хотел бы еще раз поцеловать его руки; не тут-то было... Когда бы не вы да не Любуша, воля господня! – не удержали бы меня здесь...

Якубек не мог более сказать слова: горькие слезы мешали ему говорить; рыдала мать, плакал и старый служитель.

Все трое, казалось, пришли с похорон родного. Долго не ложились спать обитатели замка и почти всю ночь проговорили о молодом Эренштейне. Наконец баронесса ушла в свою почивальню, наказав Яну позвать к ней завтра отца Лаврентия. Это был диакон соседнего моравского братства;<sup>3</sup> доверенный чтец ее корреспонденции.

И завтра пришло, и отец Лаврентий прочел баронессе следующее письмо от ее сына.

«Дражайшая матушка, поспешаю уведомить тебя, что я благополучно прибыл в Липецк. Я здоров и доволен, сколько может быть доволен сын, удаленный от матери, которую нежно любит. Не пеняй на мечтателя, что он покинул тебя: любовь к науке и ближним и вместе возможность быть тебе полезным решили меня на такое дело. Ты сама благословила меня на него, добрая, милая матушка!

В Липецке ожидал уж нас посол русский: он не обманул меня и доставил мне на первый раз значительную сумму, которую получишь с Якубом. Только для тебя дорожу деньгами: ими могу успокоить твою старость. Милости короля московитского, которыми посол обнадеживает, дадут мне средства и впредь быть тебе полезным.

С каким удовольствием услышал я первые звуки языка московского, или, как называют иначе, русского, еще с большим удовольствием, когда узнал, что он нашему языку родной! Кое-что и теперь понимаю из разговора посла, с которым еду. Жалею, что я по-чешски не знаю более. Надеюсь, по приезде в Москву, скоро выучиться говорить по-русски: это заставит моих новых знакомцев скорей полюбить меня; а я уж и теперь люблю их как единоплеменников.

О чем Якубек тебя попросит, сделай это для меня и для него.

Дорожа твоим родительским благословением выше всего, отправляюсь с ним в дальнейший путь: оно вместе с тобою тут, у сердца моего. Целую сто раз твои руки, твой послушный сын  
*Антон Эренштейн*».

Отец Лаврентий несколько раз вынужден был перечитывать письмо; всякий раз было оно орошено слезами и спрятано у сердца матери.

Первые дни разлуки были для нее убийственны. Везде бродила она по следам милого сына, воображая где-нибудь его встретить. Вещи, им оставленные, перебирала с каким-то благоговением. Запрещено было садиться на стул, на котором Антон обыкновенно сиживал во время стола, или сдвигать его с места. Этого не позволяли даже отцу Лаврентию. Цветок, сорванный Антоном в последний день его отъезда, вложен, как святыня, в лист рукописной Библии, на котором он остановил свое чтение. И в комнате его все осталось в том виде, в каком было при нем. Часто старушка мать ходила в нее тайком и плакала, сидя на кровати милого странника. Ни одной жалобы к небу, ни одного упрека; только молитвами об его здоровье и благополучии денно и ночью провожала его.

---

<sup>3</sup> Г. Булгарин посмеивался над словом: *диакон*, уверяя, что этого звания не существует у моравских братьев. Ответом моим да будет статья в Энциклопедическом словаре: *Братство*, и после прочтения ее да будет ему стыдно, что он смеется над своим незнанием.

А странник все далее и далее. Еще долго видел он голубое небо своей родины, в которое душе так хорошо было погружаться, горы и утесы, на нем своенравно вырезанные, серебряную бить разгульной Эльбы, пирамидальные тополи, ставшие на страже берега, и цветущие кисти черешни, которые дерзко ломились в окно его комнаты. Еще чаще видел он во сне и наяву дрожащую, иссохшую руку матери, поднятую на него с благословением.

Мы узнали, что Антон – сын баронессы Эренштейн. Скажем еще более: отец его жив, богат, знатен, занимает важную должность при императоре Фридерике III; но в замке богемском знают эту тайну баронесса да старый Ян, никто более. Прочие жители башни, сам Антон почитают его умершим. Но для чего это? Зачем, в каком звании ехал молодой Эренштейн на Русь?

Антон был лекарь.

Сын барона – и лекарь?.. Странно, чудно! как согласить с его настоящим званием гордость тогдашнего немецкого дворянства? Чтобы судить, каково было сердцу баронскому терпеть это, надо вспомнить, что лекаря были тогда большею частию жида, эти отчужденцы человечества, эти всемирные парии. В наше время, и то очень недавно, в землях просвещенных стали говорить о них как о человеках, стали давать им оседлый уголок в семье гражданской. Как же смотрели на них в XV веке, когда была учреждена инквизиция, жарившая их и мавров тысячами? когда самих христиан жгли, четверили, душили, как собак, за то, что они смели быть христианами по разумению Виклефа или Гуса, а не по наказу Пия или Сикста? Власти преследовали жидов огнем, мечом и проклятиями: народ, остервененный против них слухами, что они похищают детей и в день пасхи пьют их кровь, вымещал на них за одно вымышленное злодеяние сторицею настоящих. Думали, воздух, свет божий заражены их дыханием, их нечистым глазом, и спешили лишать их воздуха, света божьего. Палачи, вооруженные клещами и бритвами, еще до места казни сдирали и рвали с них кожу и потом, уже изуродованных, бросали в огонь; зрители, не дождавшись, чтобы они сторели, вырывали ужасные остатки из костра и влачили по улицам человеческие лоскутья, кровавые и почерневшие, ругаясь над ними. Чтобы хоть несколько продлить свое существование, жида брались за самые трудные должности: из огня кидались в полымя. Должность лекаря была одною из опаснейших. Разумеется, большая часть этих невольных врачей морочила людей своими мнимыми знаниями; зато с лихвою отплачивались им обманы их или невежество. Отправлялся ли пациент на тот свет, отправляли с ним и лекаря. Нужен ли пример? Вот один, довольно громкий. Врач Петр Леони, из Сполетты, истощив все средства свои над угасающим Лаврентием Медичисом, дал ему наконец порошок из жемчуга и драгоценных камней. Это не помогло: великолепный Лаврентий отправился без возврата туда, куда отправляются и не великолепные. Что ж с Леоном? Друзья покойника не долго думали: убили тотчас врача или, как говорят другие, мучили его так, что он сам бросился в колодезь, избегая новых пыток. Сколько же таких мучеников погибло в неизвестности, не удостоенных помина летописцев! После всего этого надо было не жиду большое самоотвержение, чтобы, для пользы науки и человечества, посвятить себя во врач.

Судите, что чувствовал барон, видя своего сына лекарем.

Как же, для чего, почему это случилось?..



## Глава II МЩЕНИЕ

*...Когда б над бездной моря  
Нашел я спящего врага,  
Клянусь, и тут моя нога  
Не пощадила бы злодея.  
Я в волны моря, не бледнея,  
И беззащитного б столкнул;  
Внезапный ужас пробужденья  
Свирепым смехом упрекнул,  
И долго мне его паденья  
Смешон и сладок был бы гул.*

*Пушкин*

В Риме закладывали храм... Замечателен ли был этот день, можно судить, если скажу, что закладывали тогда храм св<ятого> Петра. В этот день положен был краеугольный камень, идеал этого дивного здания; но нужно было еще полвека, чтобы гений Браманте пришел осуществить его. Со всех сторон стекались итальянцы и чужеземцы, многие из любопытства видеть великолепное зрелище, иные по долгу, другие из любви к искусству или чувства религиозного. Церемония отвечала вполне величию предмета: папа (Николай V, основатель и ватиканской библиотеки) не пожалел своей казны. Толпа кардиналов, герцогов, князей, сам преемник Петра с своим кортежем, легион кондотьеров, блестящие латы, знамена, орифламы, цветы, золото, пение – все это в чаду курения, как бы шествующее в облаках, представляло чудное зрелище. Но кто бы подумать мог, что безделица едва не разрушит величия этой процессии!

В толпу знатных иностранцев, один другого богаче одетых, один другого статнее, следовавших в некотором отдалении за папою, неведомо как втерлась маленькая уродливая фигурка итальянца в какой-то скромной епанче. Это был кусок грязи на мраморе художественного произведения, нищенская заплатка на бархатной тоге, визг лопнувшей струны посреди гармонического концерта. Казалось, уродец нарочно пришел в этот блестящий круг мстить за свои природные недостатки. Блестящая молодежь, его окружавшая, начала перешептываться между собою, бросать на него косые взгляды, теснить его: уродец молча шел себе далее. Стали допытываться, кто бы такой был этот смельчак, осмелившийся испортить кортеж, который старались так хорошо уладить, и доискались, что – врач из Падуи. «Лекарь? важная штука!.. Какой-нибудь жид!..» В это время несколько хороших личиков выглядывало из окон. Вот одна лукаво усмехнулась; вот, кажется, другая указала пальцем на толпу молодых людей... Можно ли это стерпеть? Участились косые взгляды, рожицы; посыпались перекрестным огнем насмешки: кто наступил на ногу уродца, кто придавил его. Он, будто глухой, слепой, бесчувственный, шел себе вперед. «От него воняет мертвечиной», – говорил один. «Мылом цирюльным», – перебил другой. «Отбрил бы его своею двугранной бритвой», – прибавил третий, грозясь палашом. «Слишком благородный металл для этой ракалии! – сказал молодой, красивый, статный немец, который был всех ближе к нему. – Для него довольно и палки». Тут маленькая фигурка ручонкою схватилась было за бок, думая найти кинжал; но оружия при ней не было. Из крошечного рта вырвалось слово «Knecht»,<sup>4</sup> вероятно, потому, что некоторых наемных немецких воинов называли тогда ландскнехтами. О, при этом слове надо было видеть, что сделалось с молодым тевтоном! По лицу его пробежали багровые пятна, губы его затряслись; мощною рукою впился он в затылок малютки, поднял его на воздух и выбросил за черту

---

<sup>4</sup> Слуга (нем.).

процессии. Это было сделано так быстро, что могли только заметить руки и ноги, которые, не более двух-трех мгновений, барахтались в воздухе; слышали какое-то шипение, потом удар о мостовую, и потом... ни вздоха, ни движения.

– Славно, барон! – сказали товарищи атлета, сомкнув ряды и тихомолком смеясь, как бы ничего не бывало.

Несчастный, брошенный в прах с такою исполинскою силой, был падуанский врач Антонио Фиоравенти. В этом маленьком создании высочайший разум сильно проявил себя. Говорили много об его учености, о чудесах, которые он делал над больными, доброте души и бескорыстии его. Не знали, однако ж, силы этой души, потому что никто еще не входил с нею в борьбу, ни люди, ни судьба. До сих пор жизнь его была одним успехом: учение, деньги, слава – все ему далось, казалось, в вознаграждение за обиду, сделанную ему природою; и все это он скрывал под завесою девичьей скромности. Увидав его в первый раз, нельзя было не смеяться над его крошечною уродливою фигурой; но при каждом новом свидании с ним он незаметно рос и хорошел в глазах ваших: так очаровательны были его ум и любезность. Путешествуя для подвигов добра и науки, он только что приехал в Рим и, так сказать, на первом шагу через порог «вечного города» оступился очень несчастливо. Во время процессии какая-то властительная дума увлекла его, без ведома его воли, в круг блестящих иностранцев: жестоко же был он наказан за свое рассеяние.

Когда он пришел в себя, все было тихо и пусто вокруг; только перед глазами его прыгали черные мальчики и между ними наступал на него молодой германец. Голова его была так тяжела, мысли так смутны, что он едва понял свое состояние. Собравшись с силами, он потащился на свою квартиру; но образ противника всюду следовал за ним. С того времени этот образ никогда не покидал Антонио Фиоравенти: если б он был живописец, то положил бы его сейчас на полотно; он указал бы на него среди толпы народной; он узнал бы его и через тысячу лет.

Несколько недель пролежал он в сильной горячке; в бреду видел только немца; по выздоровлении, первый предмет, который он мог распознать умом своим, был ненавистный немец. С силами его росло и желание мести; дарования свои, науку, деньги, связи, жизнь – все посвятил он отныне этому чувству. Тысячу средств, тысячу планов было придумано, чтоб отомстить за оскорбление. Когда бы выполнить тогдашние его помыслы, из них встал бы исполин до неба. Антонио начал беречь жизнь, как берегут отпущенную сталь меча, когда собираются на битву. Отомстить, а там бросить эту жизнь в когти дьяволу, если не дано ему было повергнуть ее к престолу бога! Тридцать лет исполнял он завет господя: любить ближнего, как брата; тридцать лет стремился по пути к небу – и вдруг судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада; вправе ли она была сказать: «Держись, не падай!» Был один, у которого голова не вскружилась над этой бездной, но тот был не человек, тот ходил по волнам, как по суше. Кто же виноват, если простой смертный не удержался?

Так говорил сам с собою Антонио Фиоравенти и мысленно точил орудие мести. «За дело!» – сказал он наконец, лишь только был в состоянии выйти из дому. Разыскания повели его везде, во дворцы и на большие дороги, в храмы и виллы, в библиотеки и на кладбища. Нередко видали его в тайных переговорах с привратниками, в дружеских сношениях с полицией; чернь и знать – все было для него средство, лишь бы достигнуть цели своей. Под знойным небом, в дождь, в грозу стоял он на перепутьях, поджидая, не увидит ли своего немца. Да! он называл его *своим*, как будто купил несметною суммою мести. Своими расспросами перерыл все кварталы, все дома до дна; Рим перед ним обнажился, и когда он узнал, что в Риме не было его врага, он оставил «вечный город», бросив ему на прощание слово проклятия.

Но розыски его были не совсем напрасны: он достал список всех иностранцев, которые приезжали от разных дворов к закладке храма. Часто пересматривал он его, перебирал сердцем разные имена, в нем означенные, учил их наизусть; то одно имя, то другое, будто по предчув-

ствию, отмечал кровавою чертою и упивался иногда радостью, как будто с этим списком имел во власти уже и тех самих, которые были в нем помечены. Чего не дал бы он за магическую силу призвать их всех на лицо к себе!.. О, тогда бы отметил он *одного* иною, кровавою чертою!

Три-четыре года, может быть и более, странствовал Антонио Фиоравенти по Италии и Германии, отыскивая тщетно своего врага. Казалось, месть его наконец утомилась или стала рассудительнее. Он совершенно предался науке. Сделать важное открытие по медицине и тем приобрести себе великое имя, славу европейскую: этим-то именем, этою славой хотел он отмстить врагу своему. Напишут его портрет: ненавистный немец увидит его и узнает; ему скажут, что это портрет знаменитого Антонио Фиоравенти, того крошечного лекаря, которого длинный тевтон так жестоко оскорбил... Он бросит ему свою славу в лицо: это своего рода пощечина для врага. О, такая месть – высокое чувство! С верою в искусство свое и жаждою новых познаний он посетил важнейшие учебные заведения, наконец прибыл в Аугсбург. Здесь скоро разбежалась молва, что он исцеляет умирающих, поднимает из гроба; славили особенно его знание женских болезней, которым он себя преимущественно посвятил; аугсбургские врачи, награжденные его советами и тайнами, все спешили дать ему первенство; его увлекали и в палаты, и в хижины, потому что он и беднейшим не отказывал в помощи.

Раз его призывают в дом барона Эренштейна.

Барон, тридцати лет, красивый, знатный, богатый, увенчал эти дары судьбы женитьбою на дальней родственнице короля Подибрада, девушке очаровательной красоты. Но не родство с царем, не честолюбие скрепляли этот союз: любовь страстная, готовая на все жертвы, вела жениха и невесту к брачному алтарю. Три года супруги, словно обрученные, не нагляделись, не наговорились досыта, не истощили пламенных ласк один другому; три года этой жизни были для них одним медовым месяцем. В начале четвертого баронесса готовилась подарить своему супругу первый плод их любви. Заранее истощили все нежные попечения, все возможные причуды роскоши, чтобы принять на свет и возлелеять это дитя, баловня фортуны; заранее астрологи, которых было тогда везде множество, напроорочили ему ум, наружные достоинства, славу, блага жизни донельзя и едва ли не бессмертную жизнь. С одной стороны, желания, с другой – лесть и корысть окружили будущего пришельца в мир алмазными дарами. Для барона же чувство быть отцом превышало все блага, какими он только наслаждался на земле, выключая счастье любить свою милую, прекрасную супругу и быть ею любиму. Итак, баронесса готовилась родить. Все фазы беременности исполнились благополучно и обещали такое же окончание; но когда наступил роковой срок, оказалось противное. Три дня возрастали ее муки и опасности. Можно судить, что чувствовал в это время барон. Искуснейшие врачи города были призваны на помощь; врачи употребили все средства, какие только знали; ничто не помогло, и они отказались. Несчастная не могла долее выдержать: она пожелала смерти и спросила духовника. Между тем как посылали за ним, один из врачей советовал Эренштейну пригласить знаменитого итальянца Фиоравенти, недавно прибывшего в Аугсбург.

– Если он не спасет, – сказал советник, – так никто не спасет. Итальянец едва ли не нашел средства воскрешать мертвых.

Духовник шел с дарами на лестницу; вслед за ним входил Антонио Фиоравенти; навстречу шел хозяин дома, бледный, дрожащий, с растрепанной головой, с запекшимися губами. Был полдень; солнце ярко освещало лестницу, все предметы резко означались. Первым делом барона, гордого, спесивого, родственника королевского, было броситься к ногам итальянца и молить его о спасении супруги. Золото, поместья, почести, все сулил он ему, лишь бы спасти ту, которая была для него дороже самой жизни.

Антонио взглянул на хозяина дома...

Боже! небесные силы! это *он*... он самый, тот ужасный ненавистный немец, оскорбивший его так жестоко в Риме. Ошибиться нельзя: тот самый, которого преследует месть его столько

лет, чьей крови хотел бы он напиться, продав себя хоть сатане, он самый теперь у ног его, в его власти.

Фиоравенти захохотал в душе своей адским хохотом; волосы встали бы у того дыбом, кто мог бы слышать этот смех. Руки его тряслись, губы дрожали, колена подгибались; но он старался оправиться и сказал с сатанинской улыбкой:

– Хорошо, мы увидим.

В этих словах заключалась целая вечность.

Барон не узнал его: в безумии отчаяния мог ли он помнить что-нибудь, пояснить себе что-нибудь? Он видел в нем только спасителя жены, своего ангела-хранителя, и готов был нести его на своих руках в спальню страдалицы.

– Поспешайте, ради бога поспешайте! – восклицал Эренштейн голосом, который мог бы тронуть и тигра.

– Хорошо, мы увидим! – повторил сурово Фиоравенти, и между тем гений мести летучею молнией осветил бездну души его и начертил ему, что он должен был делать.

Идут; пришли в спальню страдалицы. Сбереженный полусвет позволял врачу различить черты ее и исполнять свои обязанности. Как хороша была она, несмотря на свои страдания! Враг счастлив ею – тем лучше: еще чувствительнее будет ему мщение...

– Слава богу! духовник! – сказала баронесса умирающим голосом.

– Нет, друг мой, не он, – произнес, утешая ее, Эренштейн. – Не отчаивайся; вот знаменитый врач, который поможет тебе... предчувствия меня не обманывают... верю твердо, и ты, мой милый друг, верь также.

– Ах, господин врач! спасите меня... – могла только выговорить умирающая.

Минута... две... три... до пяти глубокого, гробового молчания; они сочтены были на сердце супруга ледяными пальцами смерти.

Наконец Фиоравенти подошел к нему.

– Она...

И врач остановился.

Эренштейн впился в него глазами, жадными, как голодные пиявицы, слухом, острым, как бритва, которая режет волос: рот его был открыт, но не произносил ничего. Он весь хотел сказать: жизнь или смерть?

– Она...

И врач опять остановился. Лицо барона стало подергивать.

– Она будет спасена, ручаюсь в этом жизнью своей, – сказал с твердостью Фиоравенти – и ужасная статуя барона сошла будто с своего пьедестала. Эренштейн озарился весь жизнью; молча он пожал руку Антонио и тянул ее к себе, чтобы прижать к губам. Врач отнял руку.

– Она будет спасена, и ваш ребенок также, – прибавил он шепотом, – только с условием от меня...

– Все, что угодно, – отвечал барон.

– Не думайте, что мое требование будет так легко для вас.

– Ничего не пожалею; требуйте моего имущества, моей жизни, если хотите.

– Вот видите, я итальянец и лекарь: простым словам не доверяю... дело идет о моем благосостоянии... мне нужна ваша клятва...

– Клянусь...

– Постойте... я видел там духовника...

– Понимаю, вы хотите... идем.

Они вошли в соседнюю комнату.

Там стоял старец священнослужитель с святыми дарами, готовясь отрешить ими земного от земли и дать ему крылья на небо.

– Отец святой, – произнес торжественно барон, – будьте посредником между мною и живым богом, которого призываю теперь в свидетели моей клятвы.

Священник, ничего не понимая, но увлеченный необыкновенным голосом хозяина, возвысил чашу с дарами и преклонил благоговейно белую, как лен, голову.

– Теперь говорите за мною, – прервал дрожащим голосом Фиоравенти, будто испуганный священнодействием, – но помните, что двадцать минут, не более, осталось для помощи вашей супруге. Упустите их – пеняйте на себя.

Эренштейн продолжал таким же торжественным, глубоко изливающимся из души голосом, но так, чтобы его нельзя было слышать в спальне жены:

– Если моя Амалия будет спасена, клянусь всемогущим богом над пречистым телом его единородного сына, и да погибну я в муках адских, да погибнет, как червь, род мой, когда я преступлю клятву эту...

Тут он обратил глаза на врача, ожидая его слов.

Врач с твердостью произнес:

– Если у меня родится сын, первенец...

Барон повторил:

– Если у меня родится сын, первенец...

– Году отдать его, сына моего, падуанскому врачу Антонио Фиоравенти...

Барон остановился... к сердцу его прилил горячий ключ... Он взглянул на искуателя всюю силою своих понятий... Этот взгляд напомнил ему приключение в Риме... Он узнал своего противника и угадал свой приговор.

– Говорите же, господин барон: из двадцати минут убыло уже несколько...

Эренштейн дрожащими губами продолжал:

– Году отдать его, сына моего, падуанскому врачу Антонио Фиоравенти, тому самому, которого я, лет за пять тому, оскорбил без всякой причины и у которого я ныне, пред Иисусом Христом, отпустившим грехи самому разбойнику, прошу униженно прощения...

– Прощения?... А!.. Нет, гордый барон, нет теперь пощады!.. Пять лет ждал я этой минуты... Говорите: клянусь и повторяю мою клятву отдать моего первенца, когда ему минет год, лекарю Фиоравенти с тем, чтобы он сделал из него со временем лекаря; почему властью отца и уполномочиваю над ним господина Фиоравенти, а мне не вступаться ни в его воспитание, ни во что-либо до него касающееся. Если ж у меня родится дочь, отдать ее за лекаря... Один он, Фиоравенти, имеет право со временем разрешить эту клятву.

– Нет, я этого не произнесу...

– Спасите меня, умираю!.. – послышался из другой комнаты ужасный голос госпожи Эренштейн.

И барон немедленно проговорил все слова Фиоравенти, одно за другим, могильным голосом, как будто читал свой приговор казни. Холодный пот капал со лба его; кончив, он упал без сил на стул, поддерживаемый верным служителем Яном и священником, давно равнодушными свидетелями этой ужасной сцены. Оба спешили подать ему помощь.

Между тем Фиоравенти бросился в спальню.

Через несколько минут Эренштейн открыл глаза, и первый звук, который он услышал, был крик младенца.

Все было забыто.

Он осторожно подошел к дверям спальни и приложил к ним ухо: родильница тихо говорила... она благодарила врача.

Врач возвратился и сказал:

– Господин барон! поздравляю вас с сыном.

### Глава III

## БЫЛО ЛИ ИСПОЛНЕНИЕ?

*О тайне  
Царской никто не узнал: но все примечали,  
что крепко  
Царь был печален – он все дожидался: вот  
придут за сыном;  
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он  
ночью.  
Время, однако, текло...*  
**«Сказка о царе Берендее...», Жуковский**

Госпожа Эренштейн, ничего не подозревая, в благодарность врачу дала своему сыну имя, которое он носил. Маленький Антон был пригож, как розан; с каждым днем расцветал он более и более под лучом ее взоров, согреваемый ее нежными попечениями; вместе с ним расцветала и мать. Отец только наружно утешался им; мысль, что отдал его итальянцу, будто продал сатане, что из него будет только лекарь, убивала все радости его. Часто взгляд на младенца, обреченного такому позору, исторгал слезы из глаз барона; боясь, однако ж, чтобы жена не заметила их, он пожирал эти слезы. Лекарь!.. Боже мой! Что скажет свет, что скажут родные, друзья, а пуще неприятели, когда узнают о назначении баронова сына? Как объявить жене? Это убьет ее. Лучше б не родиться несчастному!

– Милый друг! – говорила однажды баронесса, держа на коленях прекрасного малютку и вся пылая от любви к нему. – Недаром астрологи напророчили нашему сыну столько даров. Полюбуйся им; посмотри, какой ум, сколько огня в его глазах; он глядит на нас, будто нас понимает. Кажется, так и горит на нем звезда величия и славы! Кто знает, какая высокая доля ждет его! Ведь и король богемский, Подибрад, был простой дворянин...

Эти слова раздирали душу отца.

– Друг мой! – говорил он. – Грешно отцу и матери заранее пророчить судьбу детей своих; эта самонадеянность может оскорбить провидение, которое лучше нас знает, что делать с ним, к чему его ведет.

– Правда, – отвечала мать, смущенная каким-то предчувствием, а может быть, и грустью, пронизавшею в словах и глазах мужа. – Правда, эти пророчества могут оскорбить господа. Будем только молиться ему, чтобы он не отнял его у нас. О, тогда не переживу моего Антона.

И мать перекрестила младенца во имя отца и сына и святого духа, боясь, чтобы гордые желания ее в самом деле не навлекли на него гнева божьего, и прижимала его к груди своей, в которой сердце билось, как ускоренный маятник, и все было что-то не на месте.

Зачем живет этот сын, этот обреченник на горе и стыд родителей? Что ему в жизни лекарской? Лучше б господь прибрал его теперь вовремя на небо, в лик своих ангелов!.. Или почему не приберет самого отца?.. Тогда клятве не было б исполнения: мать не давала ее, мать и сын будут счастливы.

Так думал отец и гордый барон. Не раз приходило ему на мысль самовольно нарушить клятву. Никто не знал о ней, кроме старого духовника и Яна; духовник схоронил свою тайну в стенах какого-то монастыря, а в верном слугителе умерла она. Но сколько барон ни был бесхарактерен, слабодушен, все-таки боялся вечных мук. Клятва врезалась такими огненными буквами в памяти его, ад так сильно рисовался в его совести, что он решился на исполнение ужасного обета.

Прошло несколько месяцев, и он все не открывал вины своей супруге. Было много приступов, борьбы, решений, и всегда кончалось тем, что он откладывал объяснение.

Амалия сделалась вновь беременной: это обстоятельство принесло отраду растерзанной душе барона. Может быть, она подарит ему другого сына... Тогда первый пусть идет в жертву неумолимому року, пусть будет лекарем!..

Год прошел, а мать все-таки ничего не знала об ужасной тайне. Ждет барон день, два... Фиоравенти не является за своей жертвой. Авось-либо не будет!.. Тянутся недели... нет его. О, если бы умер!..

И барон молчал, благословляя каждый прошедший день. Зачем же тревожить напрасно мать? Может статься, Фиоравенти удовлетворил свою месть в день рождения их сына; может статься, великодушный Фиоравенти доволен и муками ожидания, которые заставляет терпеть оскорбителя, и не желает более исполнения своей клятвы. Добрый Фиоравенти! да будет над тобою благословение божье!

Удержи благословение... Итальянец не дитя, играющий своими чувствами, будто золотыми пузырями, которые лопаются в воздухе.

В один день – это было то самое число, тот самый час, когда случилось роковое приключение в Риме (мщение рассчитано), Ян с бледным лицом вошел к своему господину. Ян ничего не говорил, но этот понял его.

– Здесь?.. – спросил он служителя, побледнев как смерть.

– Приказал сказать, что он здесь, – отвечал Ян.

Прошло опять несколько дней, Фиоравенти не являлся за своею жертвою. Ужасные дни! Они отняли у барона несколько годов жизни. Не узнало бы высшее дворянство, не проводали бы родня, знакомые, кто-нибудь, хоть последний из его вассалов, что сын отдается в лекаря, как отдают слугу на годы в учение сапожному, плотничному мастерству?.. Эти мысли тревожили его гораздо более самой жертвы.

Однажды приносят барону записку от Фиоравенти.

Милость или казнь объявляет?..

Развертывает дрожащими руками и читает, с трудом переводя дух: «Я узнал, что баронесса должна скоро разрешиться от бремени. Роды ее будут трудные – это мне известно. Предлагаю свои услуги».

Разумеется, услуги эти приняты с восторгом и благодарностью.

Фиоравенти отгадал: роды баронессы были трудны. Но он и в этот раз поздравил супруга с ее жизнью и сыном Фердинандом; только прибавил: «Теперь мы поделимся; одного вам, другого мне». Это объявление, с твердостью сказанное, дало наконец знать отцу, что участь старшего сына не переменялась и что осталось только приготовить Амалию по выздоровлении ее. Сроку дано два месяца. Эренштейн просил, сверх того, чтобы позволено было сдать ребенка в каком-нибудь итальянском местечке или селе, где не знали бы ни барона, ни врача.

Все это ему даровано, как милостыня, которую богач бросает нищему. Еще одна щедрота: позволялось отцу и матери каждые три года видеть по неделе, даже по месяцу, своего сына, ласкать его, говорить им, что он их сын, но под именем бедных немецких дворян Эренштейнов, утверждая его, однако ж, в любви, в уважении к лекарскому званию. И еще одна статья условия: всякого рода помощь или подарки от родителей решительно будут пересылаемы назад. Барон на все согласен, тем более что условия ограждали до времени тайну от гласности, которой он страшился более всего.

В это время на дом барона нагрянуло новое несчастье.

Несмотря на все усилия разума, некоторые вопросы насчет соединения внешнего человека с внутренним останутся навсегда неразрешенными. Разве там разгадают нам то, что и есть, может быть, *тамошнее!*.. Закон предчувствия в числе этих вопросов. Кто, от царя до селянина, не испытал над собою силы его, и между тем в этой цепи людей кто разрешил его процесс?..

Приговариваюсь этим рассуждением к тому, чтобы сказать о предчувствии, какое имела баронесса о своей потере. Она видела во сне: разъяренный волк оторвал старшего сына от груди ее, вскинул его к себе на спину и унес... куда – уж не видала. Когда она проснулась, волнение крови ее было так сильно, что молоко бросилось ей в голову. Фиоравенти опять спас ей жизнь, но не мог уничтожить следы ужасной болезни. Баронесса потеряла свою красоту; темные пятна обезобразили ее. Одно несчастье принесло и другое – постепенное охлаждение к ней супруга, как мы сказали, от природы изменчивого характера. Доныне он любил ее пламенно; не было жертв, на которые не решился бы для блага ее, даже для ее спокойствия. Но сердце его было сосуд превращений не хуже Пинеттовых: пламя могло в несколько часов обратиться в лед, как и случилось. Отныне все попечения его обратились на меньшего сына. Если бы через несколько месяцев дали ему на выбор: лишиться Фердинанда или супруги, за спасение которой он отдал некогда сына и отдал бы себя, то, конечно, в душе своей согласился бы пожертвовать супругой, хотя бы этого явно не сказал. Таков он был во всех случаях жизни: ныне, из тщеславия, готов играть своею жизнью на концах копьев, пуститься в новый крестовый поход, завтра не дотронется до булавки, не замарают ноги, чтобы спасти погибающего; ныне, у ног врага, которого вчера бил, целует у него руку, завтра готов повторить с ним римскую сцену, если б она опять представилась; ныне сажает вас на первое место за своей трапезой, осыпает вас всеми почетными именами, вытаскивая их из словаря приличия и уважения; завтра, по первому намеку прохожего цыгана, без всяких исследований, оборотится к вам спиной, заставит вас ждать у ворот своего замка, если вы имеете в нем нужду, и встретит вас с своей баронской высоты словами: «Здорово, любезный *мой!*» Такие характеры нередки.

По выздоровлении баронессы собрались ехать на поклонение святой деве Лореттской, в благодарность за двукратное спасение баронессы от смерти. Из детей взяли старшего. Меньшего оставили с кормилицей и на попечении близкой родственницы. Фиоравенти сопутствовал им не без предосторожности. Он вызнал характер барона и убежден был, что тот, кто из боязни ада исполнил ужасную клятву свою, не побоится (каков час!) отправить его на тот свет. И потому за врачом ехало несколько служителей, хорошо вооруженных. Подъезжая к условленному месту, барон оставил своих служителей в последнем городе, взяв с собою только Яна и жену его. По приезде в село, где должно было сдать дитя барону, оставалось кончить эту драму, которая начинала ему надоедать, и приготовить Амалию к разлуке с старшим сыном. При этом случае уснувшая любовь или сострадание и совесть пробудились в нем. На нем лица не было, когда он пришел к жене с объявлением ужасного приговора.

– Ты болен, друг мой? – сказала она, испуганная ужасным состоянием, в каком его увидела.

Он признался, что болен давно. Амалия упрекала его, зачем так долго скрывал от нее свою болезнь; вместе со своими поцелуями орошала его слезами, предлагала ему пособия, какие только знала самая нежная, попечительная любовь. Барон признался, что болезнь его душевная... что началась она со времени рождения первого сына... бросил в душу женщины, страстно его любящей, сомнение, боязнь, утешение, гнев, борьбу долга с привязанностью, преданность богу и, когда перепытал все чувства и утомил их, между нежнейшими ласками предложил ей выбор: лишиться мужа навсегда или сына только разлукою временною. Наконец рассказал ей свою историю с Фиоравенти, это наслание на него божие, напомнил ей ее муки, приготовления к смерти, явление итальянца и каким образом он, для спасения ее, приступил к ужасной клятве, полагая, что корыстолюбивый врач хотел требовать только непомерной платы за свои труды. Не исполнить клятвы – навлечь на себя гнев божий, гибель на сына их, на весь род; исполнением покоряются они воле всевышнего. Может быть, господь послал им ангела-утешителя в лице второго сына; итальянец, может быть, сжалится над ними и со временем отменит свой приговор. Он уж и так оказал великодушие, позволив видаться с сыном каждые три года.



Умно приготовлено, хорошо сказано, но какие утешения победят чувство матери, у которой отнимают сына? Все муки ее сосредоточились в этом чувстве; ни о чем другом не помышляла она, ни о чем не хотела знать. Чтобы сохранить при себе свое дитя, она готова была отдать за него свой сан, свои богатства, идти хоть в услужение. Но неисполнение клятвы должно принести ужасное несчастье мужу ее, и она решается на жертву.

Мать на все согласна, лишь бы ей сдать самой дитя свое: ее поддерживает еще надежда выиграть что-нибудь для себя у жестокого Фиоравенти. Не тигр же он! Да и тот выпустил бы свою жертву из пасти, увидав отчаяние матери. Она хотела прежде испытать, не тронет ли итальянца, никого не послушалась и повлеклась в избушку, в которой он остановился. Ее остановили у дверей. В унижении стояла она час, два и три... Ничто не поколебало итальянца. Наконец ей вынесли записку: «Госпожа баронесса! Мое слово неизменно. Молите бога, чтобы я скоро умер, тогда разве ваш сын не будет лекарем. Одно только, что я могу сделать для матери, у которой отнимаю все ее благо, – это позволить ей видаться с Антонио у меня не через три года, как я сказал вашему супругу, а каждый год, но с условиями вам, конечно, уж известными. Нарушение этих условий даст мне нарушить и мое снисхождение. Это моя последняя уступка и мое последнее слово. В назначенный срок ожидаю моего воспитанника Антонио».

Сдали дитя, расстались с ним... Мать не умерла с горя: в сердце ее была надежда увидеть сына через год, а с надеждою не умирают. При этом случае лекарь, ничтожный человек, видел баронессу у ног своих... властелин духом остался властелином.

Чета Эренштейнов возвратилась в Аугсбург без старшего сына, будто умершего дорогой.

Барон, успокоив свою совесть исполнением клятвы, сделав в этом критическом положении все, что нужно было сделать благоразумному супругу, и сдав Антона, казалось, сбросил с себя тяжелый камень. Воображение начало мириться с существенностью и расцветать для него будущность. Мало-помалу стал он забывать старшего сына; сперва думал о нем как о предмете, достойном сострадания; потом как о предмете далеком, чуждом, наконец – ненавистном. Через год позволено было отцу и матери видаться с Антоном: поехала на это свидание одна мать. Еще два, три года, и сердце барона записало его в умершие. Он обратил свои надежды, свою любовь на меньшего сына. Но страсть, которая овладела им отныне, которой он дал первое, бесспорное место в душе своей, было честолюбие. Сражаясь всеми возможными орудиями за каждую ступень, приближавшую его к милостям верховного властителя, уступая ему на каждой ступени от своих феодальных прав, он наконец достиг одного из первых мест при императоре Фридрихе III. Он сделался любимцем его, перестав быть человеком. Чем выше восходил он, тем более удалялся от него отчужденец и наконец исчез для него, как едва заметная точка, которую поглотил мрак ночи. Если иногда и посещали его заботы об Антоне, так это для того, чтобы отдалить всякое подозрение об его постыдном существовании.

Мать Антона осталась для него тою же нежною матерью, какою была в первые минуты его жизни. Что я говорю? любовь ее возросла с его несчастною судьбою. Из двух детей Антон был, конечно, ее любимцем; Фердинанд пользуется всеми правами рождения, согрет каждый день у груди матери, растет в неге родительских попечений, избалован тщеславием отца; угадывают его желания, чтобы предупредить их. Чего недостает этому баловню судьбы с самого его рождения? А другой, лишь увидел свет, обречен на изгнание из дома родительского, из отчизны, отчужден всех прав своих, растет на руках иноземца, постороннего, врага его семейству; ласки, которые расточает ему мать, самое свидание с ним куплены у этого иноземца дорогою ценою унижения. Как же не любить более это дитя рока! Кажется, сама судьба старалась распределить их по рукам матери и отца, смотря на их главные отличия. Амалия несчастна, изгнанница из сердца супруга – Антон также несчастен, также изгнанник; черты его – черты матери, характер – вылит в форму ее души; он любит ее даже более своего воспитателя. Фердинанд осыпан фортуною, горд, тщеславен, шаткого нрава, как и отец, похож на него лицом. Он замечает холодность его к матери, иногда грубое обхождение и сам, в некоторых необузданных

выходках против нее, показывает, что он достойный сын отца и наследник всех его качеств. Он терзает животных, бьет немилосердно, без причины, коня, на котором ездит, бьет служителей, исполняющих медленно его повеления, трунит вслед отцу над придворным лекарем и шутом, мейстером Леоном, как называют его при дворе, и раз травил его своими собаками; он не любит учения, привязан к одним гимнастическим забавам. Сколько для матери причин, кроме несчастья, предпочитать этому сыну старшего!

Годы ее существования проходили в святом исполнении обетов, данных воспитателем и родителями Антона, в блаженстве срочного свидания и в слезах разлуки годовой, которая казалась ей вековою. Но чем более забывала она свои несчастья в любви к милому изгнаннику, в привязанности его к матери, в уме его и прекрасных душевных качествах, тем более удовольствия, казалось, находил барон изобретать для нее новые горести. Ей приказано уверить Антона в смерти отца его. Этот приговор объявил ей, что сын навсегда лишился отца. Можно судить, каково было матери объявить сыну ложную весть. Однако ж она исполнила волю своего мужа и повелителя, утешаясь надеждою на время, которое могло переменить его чувства. Дитя, не зная отца, принял весть о смерти его как о смерти чужого человека.

Фердинанду минуло двадцать три года. Он простудился, получил жестокую горячку и умер. Это несчастье, посланное небом, как бы в наказание жестокому отцу и супругу, поразило его. Казалось, эта потеря должна была бы возратить его любовь к старшему сыну. Нет, он и тут остался для него чужд по-прежнему.

Между тем Антон рос и воспитывался в Падуе под именем бедного немецкого дворянина Эренштейна. Пригож, умен, восприимчив к добру и просвещению, выказывая во всех поступках своих возвышенность чувств и какую-то рыцарскую отвагу, он был утешением Фиоравенти. С летами пристрастился он к науке, которой воспитатель посвятил его. Юный ставленник предался ей со всею чистотою и ревностью души теплой и возвышенной. Не корыстные виды нес он на алтарь ее, но пользу человечества и успехи разума. Только он имел один важный недостаток, бывший выражением его души и вместе времени, в которое он жил, – это пламенная мечтательность, до тех пор неукротимая, пока не была удовлетворена.

– Вот таков точно и брат мой Альберти, что в Московии, – говорил ему Фиоравенти, стараясь отвратить его от этого недостатка. – Поехал строить диковинный храм в дикую страну, где еще не знают, как обжигать кирпичи и делать известь! Бедный! существование погубит его высокие мечты и, боюсь, убьет его.

– Завидую ему, – говорил молодой человек, – он не тащится шаг за шагом по одной дороге с толпою. Он махнул крылами гения и живет высоко, выше земных. Если и упадет, по крайней мере летал под небом. Утешительно думать, что он победит вещественность и создаст себе дивный, бессмертный памятник, которому и наша Италия будет некогда поклоняться.

«Эта мечтательность, – думал Фиоравенти, – перейдет с летами в желание совершенствовать себя», – и смотрел на своего питомца с гордостью отца и воспитателя. Создать из него знаменитого врача, подарить им обществу члена полезнейшего, нежели барончика, может стать, незначашего, наукам – новые успехи, истории – новое великое имя: этою мыслью, этими надеждами убаюкивал он свою совесть.

На двадцать пятом году Антон Эренштейн кончил свой медицинский курс в падуанском университете. Антон – лекарем, мщение Фиоравенти удовлетворено. В это время он согласился на желание Антона путешествовать по Италии. Молодой врач поехал в Милан. Там хотел он слушать у знаменитого Николя де Монтано уроки красноречия и философии, которые считались неперменными спутниками всех званий и от которых не освобождались цари. Вместо этих уроков он услышал звуки бичей: ими потешался над ученым бывший ученик его, сам герцог миланский, Галеаццо Сфорза. Вместо многочисленных слушателей де Монтано он видел невольные жертвы сластолюбия, передаваемые могущим злодеем на позор своим придворным рабам и ласкателям; видел, как, ругаясь над человечеством, кормили людей пометом. В Риме

тот же разврат: костры, кинжал и яд на каждом шагу. И далее – по пути Антона – везде возмущения, несколько подвигов нескольких избранников и везде торжество глупой черни и развратной силы. Мог ли равнодушно видеть это девственник на позорище света, с своею любовью ко всему прекрасному и благородному? Исполненный негодования, он возвратился в Падуу. Одно, что он утешительного принес домой из своего путешествия, так это воспоминание о знакомстве с Леонардом да Винчи, полюбившим его, как родного сына. Случай сблизил их. Художник, встретясь с ним, так поражен был соединением на лице его красоты наружной с душевною, что старался заманить его в свою мастерскую. Не в одной фигуре небесного вестника на полотне Леонарда да Винчи могли бы узнать Антона. У этого знаменитого художника учился он анатомии. Из Италии посетил он мать свою, в бедном богемском замке, на берегу Эльбы, который она купила именно для свидания с сыном и будущего пребывания своего и который, говорила она ему, есть единственное родовое достояние их. Здесь пробыл он близ года, посещая иногда Прагу и его университет, тогда знаменитый.

Вскоре по возвращении его в Падуу, Фиоравенти получил письмо из Московии с послем русским, бывшим в Венеции. Письмо это было от его брата, Рудольфа Альберти, прозванного Аристотелем, знаменитого зодчего, который находился с некоторого времени при дворе московского великого князя Иоанна III Васильевича. Художник просил доставить врача в Москву, где ожидали его почести, богатство и слава.

Фиоравенти начал приискывать врача, охотника в страну далекую, малоизвестную. Никогда не думал он предлагать это путешествие своему воспитаннику: и молодость его, и разлука с ним, и варварская страна – пугали старика. Воображение его не разыгрывалось более; только рассудок и сердце имели над ним волю. И чего ж там искать Антону? Участь его навсегда обеспечена состоянием воспитателя, спокойствие ограждено обстоятельствами, имя сделает он себе скорее в Италии. Место врача при великом князе московитском годится для бедного искателя приключений, а этих искателей, по урожаю времени, можно найти с дарованиями и с ученостью. Но лишь только письмо Аристотеля не сделалось тайною для Антона, в пламенной голове забушевали мечты. «В Московию!» – вопиял роковой голос. «В Московию!» – отозвалось в душе его, как будто на зов, знакомый с первых лет младенчества. Она и прежде, в лучших мечтах своих, просила дали, неизвестного, новых земель и людей. Антон желал быть там, где не ступала еще нога врача. Может статься, допросит он там природу суровую, еще свежую, какими силами задержать долее на земле временного жилья ее, может статься, попытает девственную почву о тайне возрождения, отроет на ней родник живой и мертвой воды. Кто хотел бы глубже проникнуть в природу человека, дознал бы в этих желаниях и другие побуждения. Не играла ли в нем рыцарская кровь? дух мечтательной отваги не шептал ли его сердцу свои надежды и обеты? Как бы то ни было, он с радостью вызвался ехать в Московию; потом, услышав отказ воспитателя, стал неотступно просить, умолять его об этом.

– Наука зовет меня туда, – говорил он. – Не лишите ее новых приобретений, может быть, важных открытий. Не лишите меня моей славы, которая для меня одно с счастьем.

И за этими убеждениями последовал отказ.

– Знаешь ли, – сказал с сердцем Фиоравенти, – что врата в Московию как врата адовы: переступишь через них, назад не воротишься!

Но вдруг, неожиданно, по какой-то тайной причине, не стал больше противиться желанию Антона. Со слезами благословил он его в путь.

– Кто знает, – говорил он, – не есть ли на то воля судьбы! Может быть, и в самом деле там ожидает тебя честь и слава!

В Падуе скоро узнали о намерении Антона Эренштейна пуститься в такое далекое путешествие, и никто этому не дивился. Сыскались даже и завистники.

Правда, самое время, в которое жил Антон, настроивало умы к преследованию неизвестного, служило его мечтам извинением. Век глубокого разврата был вместе и веком высоких

талантов, смелых предприятий, великих открытий. Рылись в утробе земной, питали в горниле огонь неугасимый, сочетали и разлагали стихии, зарывались живые в гробы, чтобы добыть философского камня, и нашли его в бесчисленных сокровищах химии, завещанных потомству. Николай Диас и за ним Васко да Гама исполински шагнули через одну часть света в другую и показали, что миллионы предков их были пигмеи. Гению третьего снился новый мир с новыми океанами, и он наяву сходил за ним и принес его человечеству. Порох, компас, книгопечатание, дешевая бумага, регулярные войска, сосредоточение народов и власти, гениальное разрушение и гениальные создания – все было делом этого изумительного века. Уж в это самое время смутно носились по Германии и во многих местах Европы идеи преобразования, которые вскоре должны были усилиться гонениями западной церкви, разложиться в логической голове Лютера и вспыхнуть в этом мировом кратере, из которого огненная лава и пепел потекли с такою грозною быстротою на царства и народы. Идеи эти ходили тогда по толпам, сновались, задержанные, рвали преграды и еще сильнее бежали вперед. Тревожный, любознательный характер Антона был выражением его века. Он поддался мечтам пламенной души и искал только, куда нести ее и запасы науки.

Московия, дикая, но возрождающаяся, с своими беспредельными снегами и лесами, с таинственностью своего азиатизма, была для многих новооткрытою землею, богатым рудником для гения человека. Московия, начавшая осиливать внешних и внутренних врагов, нуждалась, на первый раз, в наружном, вещественном образовании.

Из семьи художеств и искусств первые гости, пришедшие к ней на зов ее, были: зодчество, живопись, литье пушек и колоколов. В ратном деле силу огнестрельного оружия начинали брать на помощь к силе мышц; храмы требовали более великолепия; князья и бояре искали в жилищах своих более удобства и безопасности от пожаров. Все эти потребности двигал и удовлетворял Иоанн III Васильевич, смотревший уже на Русь свою очами и мыслью царя. Может быть, обручальное кольцо последней отрасли Палеологов скрепило еще более врожденную любовь его к великолепию царской жизни, если не любовь к искусствам и художествам. София рассказывала ему о чудных палатах и храмах Италии, о блеске тамошних дворов и этими рассказами указала ему средства осуществить идеи наружного величия, которые смутно еще носились в голове и сердце властителя. Никогда потребности русских в этом отношении не могли быть лучше удовлетворены. В Италию теснилась ученая Греция, испуганная мечом оттоманов; в свою очередь, Италия спешила поделиться с другими избытком сокровищ и дарований, принесенных к ней потомками Фидия и Архимеда. Бедность, отвага и любовь к прекрасному – всюду разносили эту добычу. Зодчие, литейщики, живописцы, резчики, серебряники отправлялись гурьбою в Москву.

Не слышно еще было, чтобы какой известный врач посетил Московию. А сколько добра мог бы он там сделать!.. Врачуя, всего легче, удобнее просвещать; человек всегда охотнее повинуется своему благотворителю. «Народ русский юн, свеж, следовательно, готов принять все прекрасное и высокое!» – думал Антон. В Московию, Антон! туда, с твоею пламенною душой, с твоими девственными надеждами и учеными опытами, туда, в эту восточную Колумбию!

Из Падуи провожали молодого врача любовь ученых наставников, желание ему всякого успеха и любовь всех, кто только знал его. За ним летели и сожаления пламенных итальянок. Сколько тайных консультаций ему было готовилось! И, конечно, не наука, не бакалаврский диплом были причиной этих сожалений. Боже мой, какая наука!.. пара голубых глаз, исполненных огня и привлекательной задумчивости, лен кудрей, нежный и волнистый, как руно агнца, белизна северных жителей, стан, прекрасно изваянный; еще что бы? да еще юношеская стыдливость, которую так приятно победить. А что верен был вкус итальянок – это доказывали и соотечественники их. Встречая немецкого бакалавра, художники останавливали на нем зоркий, восторженный взгляд: взгляд Леонарда да Винчи умел ценить прекрасное. Однако ж, несмотря на соблазны итальянских сирен, на пламенный вызов их очей и бесед, на букеты цве-

тов и плоды, которые они, по тамошнему обыкновению, бросали в него из окон своих, Антон Эренштейн вынес из Италии сердце, свободное от всякой страсти или порочной связи.

Фиоравенти простился с своим воспитанником не без горьких слез, проводя его до богемского замка. Он снарядил его не только всем нужным на путешествие, но и для представления себя в блестящем виде при дворе московитского государя.

Если может быть рай на земле, так Антон испытал его целый месяц в богемском замке. О! конечно, не променял бы он этого бедного жилища, дикой природы на берегах Эльбы, ласк убогой матери, которой старость мог он успокоить своими трудами и любовью; нет, не променял бы всего этого на великолепные палаты, на старания знатных родителей пристроить его ко двору императора, на раболепную прислугу многочисленных вассалов, которых он властен был бы травить собаками.

И, верный своему обету, с мыслью быть полезным матери, науке и человечеству, мечтатель покинул этот рай. Мать благословила его на далекое путешествие в край неизвестный. Она боялась за него, но видела, что Московия сделалась для него обетованною землею, и могла ли отказать его желаниям?

## Глава IV ЗАМЫСЕЛ

*Постигнут ты судьбы рукой,  
И жизнь тебе мученье;  
Но всем бедам найти конец  
Я способы имею.  
К тебе нежалостлив творец;  
Прибегни к Асмодею.  
И грудью буду я стоять  
За друга и за брата.*  
**«Громобой», Жуковский**

*Так на взаимную пошло у них услугу.*  
**Хмельницкий**

Наступил день Герасима-грачевника, 4 марта, когда показываются крикливые вестники благодатной весны; но тогда грачи еще не прилетали, потому что зима была ленивая или спесивая, не трогалась с места, не уступала своего владычества счастливой сопернице. Только что рассветало. У плотины мельницы, стоявшей на Неглинном пруде, съехались два всадника, по-видимому, два боярина. Они стали держать путь в Кремль, к Боровицким воротам. Казалось, нельзя было соединить двух существ, так несходных по наружности. Несмотря на это, проницательный взор угадал бы в них душу, вылитую по одному образцу, с небольшими разве отметками, для которых природа так изобретательна.

Помните ли вы Петрова в Роберте-Дьяволе? И как не помнить! Я видел его в этой роли только раз; и до сих пор, когда вздумаю о нем, меня преследуют звуки, будто отзвуки из ада: «Да, покровитель!!» – и этот взгляд, от обаяния которого душа ваша не имеет сил освободиться, и это шафранное лицо, исковерканное беснованием страстей, и этот лес волос, из которого, кажется, выползти готово целое гнездо змей. Оденьте только этого Петрова в старинное русское платье, опоясанное серебряным ремнем, в богатую шубу на пышной лисице, в высокую горлатную шапку, и вы тотчас ознакомитесь с одним из ехавших по плотине Неглинного пруда. Под ним был могучий конь, оседланный богатым черкасским седлом, гремевший узорчатою сбруей, писанной серебром, пополам с рыбьими зубами. Другой всадник был маленький, худенький – глаза поникшие, с постным лицом, с смиренными робкими движениями, казалось, воды не замутит, приветливый, низкопоклонный. Суший агнец!.. Но если он из своей раковины выползал исподтишка на свет божий и высматривал кругом искоса, сквозь ресницы сонных, едва полураскрытых глаз, то, уверьтесь, он видел свою жертву по-ястребиному, тотчас хватал ее и опять скрывался в своей нечистой скорлупе. Снимая шапку, довольно поношенную (а это делал он с товарищем очень часто, в виду каждой церкви, перед которой русский Бертран творил наскоро, слегка, крестные знамения, между тем как смиренник означал их глубоко, протяжно, ударяя себя в грудь), снимая свою шапку, он обнажал голову, едва окаймленную какими-то ошипками седых волос. Под масть им опушка его шубы была так вытерта, что трудно было бы угадать зверя, давшего ей мех с плеч своих. Тощая клячонка с приличною сбруей едва под ним переваливалась. Летами он далеко ушел от товарища. Этому могло быть с небольшим сорок лет; он красовался во всей силе жизни; напротив, тот казался хилым стариком. Один был боярин, другой – боярин и дворецкий великого князя. Молодцам этим дана была по шерсти и кличка: первого звали Мамоном, второго Русалкой.

– Все ли бог милует, Михайло Яковлевич? – спросил Мамон.

– Твоими молитвами, батюшка Григорий Андреевич! – отвечал Русалка. – А то где бы? по тяжести грехов моих меня бы и земля не снесла.

– Безгрешен один господь.

– Господь на небеси да еще, прибавить изволь, господин наш и всея Руси великий князь.

– Видно, нелюбье свое взял назад!

Тут Мамон лукаво посмотрел на своего товарища; этот, без малейшей тени досады, отвечал:

– Где гнев, тут и милость. Одним пожалует ныне, другим завтра, одно потонет, другое всплывет наверх – умей только ловить, родной мой!

– Ловишь, а тут из-под руки у тебя подхватывают. Что мы с тобой нажили? Избушку на курьих ножках да прозвание шептунов... Велика пожива! Посмотришь, то ли с другими боярами? Хоть бы недалеко взять Образца! Построил себе каменные палаты на диво, поднял так, что и через Кремль поглядывают.

– Идет слух, будто мерит корабленники зобницами.<sup>5</sup> Мудрено ль? нахвтал в Новгороде – буди не в осуждение его милости сказано – упаси нас господи от этого греха! (Здесь он перекрестился.) Добыча воинская – добычка праведная!

– Нет греха бодливому сломать рога. Спесив шелонец, никого в уровень себе не ставит.

– К слову молвить: чем сын твой не чета его дочке родом и почетом, умом-разумом и пригожеством?

Вспыхнули очи Мамона. Он только что сватал дочь воеводы Образца за своего сына и получил отказ: неслись уж слухи, потому что мать самого Мамона была волшебница, которая и сожжена.<sup>6</sup> От слов Русалки, ему казалось, шапка на голове его загорелась; он придавил ее могучею рукой и, горько усмехнувшись, сказал:

– Ты уж ведаешь?..

– Разве я один!

– Не ты один! Да... другие... многие... вся Москва.

– Земля слухом полнится, батюшка Григорий Андреевич!

– Чай, смеются!.. Чай, говорят: куда сунулся сын колдуньи!.. Что... говорят?.. Скажи, голубчик, пожалуйста.

– Грех таить... похвалялся сам Образец.

– Похвалялся? собачий сын!.. А ты, ты, задушевный, не сказал словечка за меня?..

– Распахнулся, разразился, батюшка Григорий Андреевич, так что воеводе заочно было жарко; положил всю душу свою, все разумение на язык... говорил, что Образец сам свах к тебе заслал, да...

– Сам не сам, что до того!.. Смотри, *пятенищик* мой,<sup>7</sup> – прибавил Мамон, грозя кулаком в ту сторону, где стоял дом воеводы Образца, – глубоко выжег ты *пятно* на груди моей! Вырву его хоть с полостью мяса, насыщу его зельем... зельицем на славу!.. поставлю не на простой мисе, на серебряной... кушай себе на здоровье да похваливай повара! Ты пособишь, Михайла Яковлевич... А?.. Вестимо, так... Пир за пир! Ведь и тебя употчевал он хмельным на своем новоселье.

Очередь дошла до Русалки. Лицо его подернуло; он начал похлопывать веками. Видно было, что и его тронуло за живое. Он, однако ж, молчал скрепя сердце. Товарищ его продолжал, бросая на него насмешливые взгляды.

---

<sup>5</sup> Хлебная мера того времени.

<sup>6</sup> Князем Иваном Андреевичем Можайским.

<sup>7</sup> Пятенищик, ставивший клеймо на лошадях и сбиравший за то пошлину в казну или на монастыри, которым эта пошлина предоставлялась грамотою.

– А братчина была на весь мир! Не одну бочку меду выкатили из погребов, не одна почетная голова упала под стол. И корабленники разносили гостям на память новоселья... Был ли ты зван, дворецкий великокняжеский?

Ничто не могло так расшевелить жадную душу дворецкого, как напоминание о потерянной выгоде. Встревоженный, он отвечал со вздохом:

– Где нам между шелонских богатырей! Мы не драли кожи с пленных новгородцев (он намекал на князя Даниила Дмитриевича Холмского); мы не водили сына-птенца, бессильного, неразумного, под мечи крыжаков – на нас не будет плакаться ангельская душка, мы не убивали матери своего детища (здесь он указывал на самого Образца). Где нам! Мы и цыпленка боимся зарезать. Так куда же соваться нам в ватагу этих знатных удальцов, у которых, прости господи, руки по локоть в крови!

– Да, мы не зарежем цыпленка, которого задавить можем, а натянем лук и пустим каленую стрелу в коршуна, что занесся высоко. Любо, как грохнет наземь!.. Греха таить нечего, обоим нам обида кровная! Унижение паче гордости. Дело овечье протягивать голову под нож. Око за око, зуб за зуб – гласит Писание. Мы грешные люди: по-моему, за один глаз вырвать оба, за один зуб не оставить ни одного, хоть бы пришлось отдать душу сатане!

Русалка плюнул, перекрестился и прошептал:

– Прости, господи!

– Не молитвы, а думы хитрой жду от советника и друга. Твоя голова не горит, не идет кругом, как моя. Ты для меня раз, в другой я для тебя, будут и за нас, мы за них, круговая порука, хоть стоном пойдешь земля! И в других странах, рассказывают наши ездоки, знатные люди не иначе крепко держатся.

Коварно улыбнулся Русалка и примолвил:

– Не утаю от тебя, задушевный... Я уж нес к господину нашему думку на сердце; на первый раз охнет от ней воевода, будто ударили его ослопом. Ведаешь, едет к нам от немцев лекарь Онтон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему три дня пути...

– Что ж из этого?

– Вот что, задорная голова! У Образца новые каменные палаты, поставленные на славу и, прибавить изволь, на его голову. Деревянный свой, трухлый двор он сломал; перейти ему некуда. Нашему господину и великому князю потребно, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, от чего господи оборони Ивана Васильевича на всяк час живота его – слова из речи не выкинешь, от слова не сделается, – потребно, говорю я, чтобы врач находился неподалеку от его хоромин. Из них в палаты Образца будто рукой подать. То и подобает лекаря Онтон, поганого немчина...

– Поставить в каменные палаты воеводы, – перебил Мамон радостным голосом, – отобрать у него лучшие клетки, оружейную, постельную, сени... Немчин для него в доме хуже нечистого; того ладаном выкуришь да святой водой выгонишь, а этого, засадит раз Иван Васильевич, не выживешь никакою силою. Придется хозяину хоть в удавку! Но позволит ли великий князь?

– Берусь за это. Тебе нельзя замолвить и словечка: о твоём размирье с Образцом если не знает еще наш господин...

– Так узнает ныне же, и через тебя... не правда ль?

– Не утаю, батюшка, поведаю... Ныне я на тебя, завтра ты на меня, скажем друг на друга, только такие дела, за которые Грозный потрясет по маковке, а корня не тронет. Ты цел, я цел, а мы свое дельце сделали. Но речь, кажись, мы вели о немчине. Ты ведаешь, Образец в набережных сенях обидел посла немецкого. Грозно повел тогда на него очами Иван Васильевич; несдобровать бы воеводе, да шелонская битва была на горячей памяти, и... цел остался он. А прислушайся ушком у сердца великого князя: ох, кипит, гудит в нем нелюбье. И будет легче



ему, хоть окипь сбросить на рьяного боярина и за почетного немчина отплатить ему немчином же. Стоит только намекнуть...

Остановил Мамон своего коня, скинул шапку и, опустив ее низехонько, также поклонился, сколько мог ниже, как бы признавая его сатанинское первенство.

Этот, ухмыляясь, слегка приподнял свою и примолвил:

– Люди свои, сочтемся, батюшка Григорий Андреевич!

– Мы сочлись уж, если признаешь мою услугу. Будем говорить душа в душу. Ведь ты начал дело о князе Лукомском и толмаче его?

– Видит бог, в угоду Ивану Васильевичу и ради добра земле русской... Литвин подослан своим государем Казимиром известь Ивана Васильевича... холоп на него показал... зелье нашли... чего лучше, чтобы придраться к Литве, где пристань держат для всякого, кто только осерчает на нашего господина!

– Пытал я Лукомского и толмача, латынщика Матифаса... не признались! Призывал баб лихих, давал лизать зелье, одной всыпал насильно добрую задачу в горло, давал в хлебе собаке: ни баба, ни собака не околели.

– Ну что ж после, родной?.. – спросил Русалка со страхом.

– После?.. Для тебя... от одной маковой крупинки разорвало ту же собаку! Все скрепил золотой петлей! Не бойся, тебя в лжецы не поставлю, Михайло Яковлевич!

В свою очередь, дворецкий снял исщипанную шапку и, низко поклонясь, примолвил:

– Сам господь заплатит тебе!

– Полно, не грехи, Михайло! Свои люди, сочтемся. Услужи мне только Образцом.

Дворецкий показал с чувством на церковь Спаса, к которой они подъезжали. Вышки великокняжеских хоромин выглядывали уж из-за нее. Чтобы не подозревали в них какого стовора, они поехали, один по набережной Кремля, другой – к Никольским воротам. Расставание их было только до великокняжеского двора, где они должны были свидеться.

На поклоны прохожих, знавших, что они сильные люди, Мамон едва приподнимал свою шапку, Русалка отвечал низкими поклонами. Одни молодые удалцы, которым терять было нечего, кроме своей головы, провожали первого именем наушника, которое он и оставил за собой в потомстве,<sup>8</sup> второго подстреливали только слегка насмешками. Надо сказать, что Мамон был особенно нелюбим народом за то, что, во время нашествия ордынского хана Махмета на русскую землю, склонял великого князя на робкие меры и во всякое время шептал ему обо всем, что делалось в семейной жизни и на миру. Русалка умел избежать этой ненависти, потому что поступки свои скрывал под благовидною личиною усердия и необходимости и находил оправдания перед великодушием народа в изученной бедности, привете ко всякому и христианском смирении. Между тем приятель его, гордый, напыщенный, топтал в грязь общее мнение и хвастался своим ремеслом, которое приближало его к великому князю, милостям его и власти делать зло.

---

<sup>8</sup> Таким же именем история опятнала боярина Ивана Васильевича Ощеру.

## Глава V ВЕЛИЧАНИЕ

Великий князь жил тогда в деревянных хоромах, на так называемом *Старом месте*, за церковью Благовещения, недавно отстроенною. Кроме того, стоял трухлый двор великокняжеский за церковью Михаила Архангела (тогда еще деревянною), на *Ярославском месте*. Все это предположено было одно за другим сломать. *Золотая палата* и *Теремный дворец* уже создались в голове Ивана Васильевича; и чтобы осуществить свои намерения, ожидал он только искусных зодчих, которые должны были вскоре приехать с немецким врачом. Хоромины великокняжеские состояли из нескольких клетей, углубленных или выдававшихся из главного строения. Они отличались, по назначению своему или расположению, названиями: сенника, избы средней, западной, брусной, постельной, столовой, гридни, повалуши, теремов и так далее. Со всех сторон окружали их переходы под навесами и с глухими перилами, которые примыкали к домовою церкви и часовням; главный из этих переходов вел к церкви Благовещения, потому так и называемой: на дворе великокняжеском правитель народа не начинал и не оканчивал дня без молитвы в доме божием. Даже больные и женщины не увольнялись от этого долга; окна из упкоев их устроены были так, что они могли из них слушать церковную службу и молиться на местные иконы храмов. (Таким образом, почти и у каждого богатого человека была церковь на своем дворе.) Несколько крылец, из которых *Красное* отличалось каменными уступами и резными украшениями, сходило на площадь. *Набережные сени* выступали вперед особенною палатою. Зодчество тогдашнего времени было немудрое, детское; затеи его состояли только в некоторых наружных прикрасах. Фронтоны, как и вообще богатых церквей русских, представляли обращенные к небу сердца, главы – также. Взгляните на рисунки индийских храмов, именно зигов,<sup>9</sup> и вы найдете в них первообраз наших храмов. Мастера особенно любили щеголять друг перед другом в развие столбиков, в узорочной резьбе на подзорах и над *красными* окнами. Резьба эта на дереве была так искусна, что едва ли причудливая кружевница могла лучше сделать из ниток. Впрочем, ветхому жилищу великокняжескому придавали какую-то мрачность ржавое железо решеток, ограждающих окна, тусклый мат их слюды, оправленный в свинец, преклонные теремки, уходящие в ветхий гроб свой, крышу, по которой время разбрасало клочки зеленого и порыжелого моха. Мы сказали, что хоромины стояли на площади. Четыре улицы, немного пошире тогдашних обыкновенных, загроможденные церквами, похожими на часовни, и домами наподобие богатых изб в Новгородской и Псковской губерниях, вот вам и дворцовая площадь! Надо прибавить, что некоторые домишки, несмотря на присутствие дворца, бесчинно выходили из ряду, чтобы похвалиться волею своего господина. Целый *город*, заключавшийся в ограде Кремля, походил на муравейник домов и церквей, по которому дитя провело, в разные стороны, как попало, несколько дорожек. На этих-то дорожках крыша одного дома почти сходилась с крышею другого, так что смельчак мог бы, не хуже хромоногого беса, сделать по ним изрядное путешествие. От этой тесноты пламя так часто пожирало целую Москву.

Но в ветхих хоромах, за церковью Благовещения, жил первый господин *всей* Руси. В них замыслил и заложил он будущее могущество ее; сюда, встревоженные признаками этого могущества, государи присылали своих послов ему поклоняться и искать с ним связей. Подходя к этим хоромам, царедворцы русские усерднее слагали молитвы архистратигу небесного воинства, да помилует их от гнева грозного земного владыки.

<sup>9</sup> Художественная газета, 1838, № 8.

Солнце не высоко играло над землею, а на дворе великокняжеском все уж давно принялось за дневные заботы. Везде суетились дворчане, учрежденные Иоанном по образцу европейских дворов, но которым он дал названия русские, сообразно их должностям (распоряжение, к сожалению, отмененное Петром I). Дворецкий Русалка преобразился в новую одежду. Он успел уж побывать у маленьких детей Иоанна и отнести им игрушки; успел сделать разные угождения и Софии, супруге великого князя, и Елене, супруге сына его, несмотря что они не ладили одна с другою; кого из дворских потешил ласковым словом, кого шуточкой. Он везде поспевал, всем заправлял и мало что приводил в действие положенное, обычное, старался еще упредить желания и прихоти своего властителя на весь следующий день. Обязанности дворецкого ограничивались двором великокняжеским; но он, волею и неволею, расширил круг их за пределы его. На Русалку налагали иногда самые трудные, щекотливые поручения, нередко опасные и грязные; на иные он иногда сам вызывался, желая доказать, что он хотя и хил наружностью, но богатырь лукавством и умом. Таких слуг любил Иоанн и на них-то намекал, говоря: «Мне хоть бы пес, да яйца нес». Замечая их обманы, он наказывал их то грозным словом, то посохом или временною опалюю, а чаще закрывал глаза на те проказы их, которые не вредили ни лицу его, ни государству.

С посохом великого князя и его горлатною шапкой второго наряда дворецкий ожидал его у дверей средней избы, отделявшей повалушу от брусяной, в которой находился Русалка. Голые стены этой избы красовались с четырех сторон иконами огромного размера, в кивотах, с подвесками из камки, унизированной или золотыми *дробницами*, или *угорскими* (венгерскими) *пенязями* (Pfennig).<sup>10</sup> В обширной комнате не было никакой мебели, кроме дубового стола, украшенного искусною резьбой, и двух скамеек с суконными полавочниками; под каждой стояла колодка (скамеечка для ног) и подостлан был кизылбахский (персидский) ковер, или подножье, как называли наши предки. Все было тихо, как в склепе. Неподвижно стоял Русалка, прикованный слухом и всеми помыслами к двери, через которую должен был выйти великий князь. Вдруг в средней избе прокричал кто-то смутно, словно больной, сердитый старик, странным, охриплым голосом:

– Царь Иван Васильевич! Царь Иван!

Тут Русалка лукаво улыбнулся, съезжил плеча и покачал головою, будто хотел сказать: то-то потеха! Потом приложил ухо к двери. Вот что там говорили. «Хе, хе, хе! Фоминишна, это твое дельце, – сказал мужской голос. – Ты навела меня на татар, а теперь вижу, куда гнешь... Спасибо, спасибо!» Скрипнула дверь, и послышался голос женщины: «Пора! тебе уж вся Русь кланяется этим именем, да и римский цесарь называет тебя своим братом». – «Царь Иван, царь Иван!» – закричал опять старик. «Довольно, – прервал владычный голос мужчины, – у меня и без того много царя сидит в голове: не уgomонишь ничем. На сердце пора, да на деле не то; давно глаз видит, да зуб неймет... Вся Русь?.. Где она? где это царство, сильное, владычное, дружное, словно одно тело, у которого руки и ноги делают, что похочет голова?» – «Ты угомонил татар, покорил Новгород и раскинул свою державу так широко, что можешь назваться царем русским», – прервала Софья Фоминишна. «Да, раскинул широко, и что захватил, то держу крепко; а тут на сердце налегли свои и вяжут меня. Подлинно, кровные! Кругом затылили меня Ярославль, Ростов, Углич, Рязань; не крепка и калитка моего царства на чужой Верее... едуци в свой Новгород, запинаясь всегда о Тверь... Выгляни-ка в окно, любя моя; не увидишь ли из него чужого княжества, чужой трети! Подивись на каменные палаты, на чудные дома божии моего стольного града, на хоромины наши... Чай, во фряжской земле таких не видано?.. Ох, ох, ох! инда зазорно было мне посла немецкого». – «Храм Пречистой на диво построит нам Аристотель; скоро будут к нам новые палатные мастера... построят и тебе дворец, и твоим боярам палаты. Лет через пяток Москву не узнаешь». – «Прежде свалим тыны,

<sup>10</sup> Пфенниг (нем.).

срубим заставы, а там, если господь продлит живота, построим себе и царские палаты. Тогда буду царем всея Руси не одним прозвищем; тогда скажу: видно, бог избрал на то своего раба Ивана! Да, буду царем!» С этим словом распахнулась дверь, и великий князь быстро вошел в брусняную избу, где стоял Русалка, успевший приготовить свою личину по надобности.

Иван Васильевич собирался принимать епископа тверского и одного из именитых людей тамошних, присланных шурином его и великим князем тверским, Михайлом Борисовичем. Послы приехали от *меньшего* брата, разжалованного уже из *равного*, для переговоров и извинений по случаю перехваченной переписки его с Казимиром, королем польским. Для этого приема великий князь московский оделся, поверх нескольких платьев разного наименования, в богатый становой кафтан, с выводами на нем людей: чем пышнее стояла одежда, тем краше и великолепнее считалась. Черные волосы его резко выпадали из-под *тафьи* (татарского колпака), жемчугом шитой. На груди висела золотая цепь с большим крестом из кипарисова дерева, в котором хранились частицы мощей. Перстень на среднем пальце правой руки сиял своею золотою, филиграновой оправой, а не камнем в ней, который не отличался ничем от голыша. Но этого камня не отдал бы Иван Васильевич за дорогие самоцветы: это был талисман – подарок от союзника и друга, крымского хана Менгли-Гирея, в свою очередь получившего его из Индии. Вот что, по словам летописца, писал к русскому великому князю Менгли-Гирей, посылая этот дар: «Тебе ведомо, что в эндустанской земле *кердеченом* зовут *однорог* зверь, а рог его о том деле надобен: у кого на руке, как едючи, то лизати, и в той ястве, что лихое зелие будет, и человеку лиха не будет». Из этого-то будто рога частичка была вставлена в перстень, и потому Иван Васильевич никогда не скидал его, свято храня завет своего союзника, а может быть, с намерением предупредить всякое покушение на отраву.

С одной стороны, быстрый, огненный взор из-под черных, густых бровей на дворецкого – взор, который редкий мог выдержать и от которого женщины слабого сложения падали в обморок. Казалось, им окинул он своего слугу с ног до головы и обозрел душу его. С другой стороны, глубокий, едва не земной поклон, которым Русалка хотел, казалось, скрыться от испытующего взора, вручение посоха и целование властительной руки. Шапку не принял Иван Васильевич и дал знать, чтобы он положил на одну из скамеек.

– Слышал ли, дворецкий, чем величала меня заморская птица? – спросил великий князь, прояснив свое нахмуренное чело.

В самом деле, странный голос, слышанный дворецким, был крик попугая, поднесенного великой княгине Софье Фоминишне немецким послом. Дочь Палеологов, награжденная от природы силою ума и воли, в которой отказано было ее братьям, знала очень хорошо, какая безделица нужна была, чтобы решить супруга на исполнение великого дела, созревшего в могучей душе его. Она первая гласно не захотела быть рабыней татар. Выпросив для себя Ордынское подворье и, таким образом, выгнав их из Кремля, Софья навела великого князя на мысль, что они сделались недаром уступчивы и что так же легко будет выгнать их из русской земли. Теперь же, когда Иоанн, унизив Казань, покорив Новгород и разведавшись с ордою, замышлял об освобождении своего государства от уделизма, стеснявшего его внутри и находившего ему врагов извне, хитрая и честолюбивая Софья искала разных средств усладить для него подвиг несправедливый, но необходимый. И потому втайне выучила заморскую птицу величать Иоанна именем царя, которое столько льстило ему.

– Видно, вещая птица, господине! – отвечал хитрый царедворец, подставляя к окну скамейку, а потом под ноги великого князя колодку, обитую золотом, и ковер. Все это исполнялось по движению глаз и посоха властителя, столь быстрому, что едва можно было за ним следовать. Но дворецкий и тут не плошал. Откуда взялась прыть у хилого старика, в котором, по видимому, едва душа держалась.

На полавочнике были вышиты львы, терзающие змея, а на алтабасной (парчевой) колодке двуглавый орел. Эта новинка не избежала замечания великого князя: черные очи его зажглись

удовольствием. Долго любовался он державными зверями и птицею и, прежде нежели сел на скамейку и с бережью положил ногу на колодку, ласково сказал:

– И ты ныне, старый пес, видно, сговорился с Фоминишной потешить меня!

Дворецкий низко поклонился, охлив кулаком свою ошипанную, остроконечную бородку.

– Ох, ох! – продолжал великий князь. – Легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтабасными орлами, заставить попугаев величать себя чем душе угодно; да настоящим-то царем, словом и делом, быть нелегко! Сам ведаешь, чего мне стоит возиться с роденькой. Засели за большой стол на больших местах да крохоборничают! И лжицы не даю, и ковшами обносят, а все себе сидят, будто приросли к одним местам.

– Что ж, господине, коли чести не знают...

– Так по шапке, да из-за стола вон! Воистину так, пора... пускай себе кричат: греха не ставит, родных обирает... даст на том свете ответ. Нет, не дам. Прежде, нежели я брат, дядя, шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на Страшный суд Христов, он, наверно, спросит меня: печаловался ли ты о земле русской, над которою я поставил тебя владыкою и отцом, соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь, хилую, разрозненную, ободранную? Вот что спросит он, а не то, что пил ли из одного ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они с своими и чужими сосали кровь русскую!

Иван Васильевич замолчал и посмотрел на дворецкого, как бы вызывая его на ответ.

Этот понял его и сказал с низким поклоном:

– Пожалуй меня, господине, князь великий, своего слугу, молвить глупое слово.

– Молви умное, а за глупое скажу тебе дурака.

Опять поклон; Русалка приправил его следующей речью:

– Вступающим в брак господь наказывает оставить отца своего и мать и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине! Умнее на твою речь сказать не сумею: я не дьяк и не грамотей.

– Грамота у тебя в голове, Михайло!.. Ладно!..

Произнося последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посохе, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые дворецкий не смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел; нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы.

Наконец Иван Васильевич сказал:

– Позови ко мне Мамона и дьяков моих.

Приказ этот был немедленно исполнен. Дворецкий тотчас возвратился с своим приятелем, нам уже известным, и тремя новыми лицами.

## Глава VI ДОМОСТРОИТЕЛЬ И ДОМОЧАДЦЫ

*Вился, вился ярый хмель,  
Слава!  
Около тычинки серебряныя,  
Слава!  
Так бы вились князья и бояре.  
Слава!  
Около царя православного,  
Слава!*

Вошедши в брусную избу, все они сотворили крестные знамения перед образом Спасителя, потом низко-пренизко поклонились великому князю. Казалось, по росту их, вышли они один из другого, как дорожный прибор стаканов. Самый большой был дьяк Федор *Курицын*. Это был мужчина целою головою выше Мамона, лет под пятьдесят, но казался старше своих лет. Непрерывные умственные заботы и труды сгорбили его и изнурили до болезненного состояния. На обнаженной голове оставались только за ушами, будто для образчика, две-три пары осиротевших русых локонов; лицо его изнывало, но мутные глаза издавали огонь ума; на изрытом челе господь, видимо, утвердил знамение высоких помыслов. Его употреблял великий князь по делам дипломатическим. За ним следовал Мамон. Потом дьяк *Володимер Елизаров Гусев*, делец, законник, достойный памяти потомства за сочинение «Судебника». Остального точно выпустили из пазухи Курицына: такой он был крохотный. Может быть, в стране лилипутов поставили бы его фланговым в гвардию; немудрено, что он прослыл бы там и великим человеком, потому что имел бы чем давить меньших. Но между нашими огромными современниками пришелся бы мелкому егерю под мышку. Так-то все сравнительно получает название! За то одна часть его помрачала целое. Он едва ли не осуществил карликов наших сказок, о которых говорится, что они с ноготок, а борода у них с локоток. Исполинская, дивная борода! По ней дьяк и назван был Бородатым. Не думайте, однако ж, что все достоинства его ограничивались этим волосяным украшением. Нет, он сохранил и до нас свое имя другими качествами, а именно: умел *говорить по летописцам*, которых твердо изучил, так что с выученного не сбила бы его пушка, и красно по-тогдашнему, то есть витиевато и напыщенно, описывал походы своего господина. Ему же поручено было обучение придворного клира духовному пению – как говорит историк не наших времен: «На разные роды древнего dobroglasia». Одним словом, это был придворный человек-колибри: пел сладко, не тяготил ветки, на которую садился, и был счастлив на своем гнездышке, не боясь, что за ним погонится коршун, которому от него нечем было пожитья.

– Ну, что... дело с литвинами? – грозно спросил Мамона великий князь. Очи его вызывали на кровавый ответ.

– И князь Лукомский, и толмач его Матифас показали, что хотели отравить тебя по насылу Казимира, – отвечал Мамон с твердостью. – Пытал я давать зелья лихим бабам; от одного макова зернышка пучило их, а собаку разорвало.

Иван Васильевич скинул тафью, перекрестился и произнес с благоговением, смотря на образа Спасителя:

– Благодарю тя, бога и спаса моего, что сподобил меня, своего грешного раба, избавиться от насильственной смерти. – Потом, лизнув перстень свой «*Кердечень*», присовокупил: – Спасибо и Менгли-Гирею!.. А то, пожалуй, далеко ли дьяволу до наущения, и через кровных подсыпят. Ныне своих бойся более чужих.

– Помилуй, государь, отец наш! допустим ли мы, твои верные холопы! – воскликнули в один голос дворецкий и Мамон.

– Око господне блюдет законных владык, – сказал Гусев. – Тебя же особо, господине, князь великий, для устроения и блага Руси.

И крохотный дьяк Бородатый пропел в нос свой панегирик.

Курицын молчал.

Казалось, Иван Васильевич не слышал уверений своих царедворцев и продолжал:

– Превысокий, благородный, славный краль!.. христианский краль!.. Хуже бессермена!.. Не берет силою, так зелием... Посмей отныне лаять, что я затеваю с ним размирье из корысти, хоть и без того было бы что поговорить о правах моих на древнюю отчину нашу, Литву!.. Смотри, однако, Мамон, не было ли кривды в твоём допросе? не мстил ли, не дружил ли ты кому?

– Целовали со мною крест семь добрых *видоков*, детей боярских. Не согрешили ни перед богом, ни перед тобою, господине!

– Ладно!.. А что, Володимер Елизарович, какое наказание положено по твоему судебнику тому лихому человеку, что посягает на чужую голову?

– В судебнике уложено, – отвечал Гусев: – «А доведут на кого татьбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное лихое дело, и будет ведомо лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью, а исцево доправити; а что ся останет, ино то боярину и дьяку...»

– Законники, во-первых, о себе помнят. Небось о пошлинах боярину и дьяку не забыли! Написано ли что у тебя о государском убийце и крамольниках?

– И в помышлении такого случая не имел.

– То-то!.. Вы, законники, все пишете листы за листом, да не дописываете. А там судьи праведные начнут пополнять, да пояснять, да посулы брать за темные недосказы. Закон должен быть уложен, словно открытая ладонь, без перстаницы (великий князь развернул свой кулак); всякий темный человек довидит, что на ней, и зернышко маково не укроется. Коротка, да ясна, и, коли нужно, сильно хватает!.. А то, пожалуй, наденут на закон дырявую рукавицу, да еще сожмут в кулак: отгадывай, чет или нечет! Покажут то или другое, коли надо!

– Виноват, господине, князь великой! мы вот что прибавим в судебнике: «А государскому убийцу и крамольнику живота не дати».

– Быти по тому: живота не дать, кто сам посягает на чужую голову! (Тут он обратился к Курицыну, но, вспомнив, что он не сроден к поручениям о казнях, примолвил, махнув рукою:) Забыл я, что курица петухом не поет. (При этих словах в глазах дьяка проникло удовольствие.) Мамон, это твое дело! Скажи моему тиуну московскому, да дворскому, чтобы литвина и толмача сожгли на Москве-реке. Сжечь их, слышишь ли? Чтобы другим неповадно было и помышлять о таких делах.

Дворецкий поклонился и, охололив свою ошипанную бородку, произнес:

– На днях будут сюда фряжские палатные мастера и немчин-лекарь. Пречистая ведает, может, и меж ними есть какие лихие люди. Коли дозволишь молвить, что на разум нашло.

– Говори.

– Пригоже было б им на первый раз острастку дать: для того и казнить злодеев при них... Великий князь, немного подумав, отвечал:

– За лекаря Антона ручается мне Аристотель: учился у брата его; палатные мастера – фрязы, люди добрые, смирные... Однако... кто ведает?.. Мамон, вели подождать казнить до приезда немчина-лекаря; да смотри, чтобы на злодеях железа не спали!..

Здесь махнул Мамону рукой, чтобы шел исполнять его приказ.

– К слову молвить, господине, – сказал Русалка, когда вышел его приятель, – у кого прикажешь поставить немчина?

– Поближе к хороминам моим, ради всякого случая.

– Аристотель говорит, ему зазорно жить в наших избах... а палаты каменны поблизости только и есть, что у воеводы Василия Федоровича Образца. Ты сам приказал на память себе привести...

Великий князь понял мысль дворецкого и, усмехаясь, отвечал:

– Пригоже, Михайло, сильно пригоже!.. Боярину это будет нелюбо, да и то сказать, не умрет же от немецкого духа. Пускай его почует, откуда непогода!

Замолчав, он с грозною важностью взглянул на Курицына. Этот начал было говорить:

– Послы от тверского...

– Князя, хочешь ты сказать? – перебил Иван Васильевич. – Не признаю более тверского князя. Что, спрашиваю тебя, что обещал он нам договорною грамотою, в которой был посредником епископ его, ныне к нам прибывший?

– Что он разрывает союз с королем польским Казимиром и без ведома твоего не будет иметь с ним сношений, ни с твоими недоброжелателями, ни с русскими беглецами, что клянется за себя и за детей своих вовеки не поддаваться Литве.

– У тебя *лист* к королю Казимиру от нашего шурина и доброжелателя, которого называешь еще *великим* князем тверским?

– У меня, государь.

– О чем там говорится?

– Князь тверской возбуждает короля польского против государя всея Руси.

– Теперь суди нас бог, а правда на моей стороне! Ступай и объяви посланным ко мне Тверью, что я не принимаю их. Было им от меня слово милости: они надругались над ним. Что я им?.. Ветошь, которую они топчут ныне в грязи, а завтра ставят вместо пугала в своих садах? Или болван?.. ныне-де поклоняются ему, а завтра бросают в поганое болото с причитаниями: выдыбай, батюшка, выдыбай!.. Нет, не на того напали!.. Пускай ведут изменническую речь с королем польским и величают его своим государем, а я сам приду сказать Твери, кто настоящий их господин. Нет терпения мне более с этими крамольниками!

Говоря это, великий князь разгорался более и более, наконец ударил посохом в пол, и посох переломился надвое.

– К делу, вот разметная наша грамота! – прибавил он. – Еще последнее слово. Покажи им эту трость: если бы погнулась, так была бы цела!..

Курицын, получив роковые обломки, вышел. Любомудр того времени, смотря на них, покачал головой и подумал: «Так рушится сильная соперница Москвы!»

– Милости ко мне велики, – продолжал великий князь, немного успокоившись: – Ростов и Ярославль отказываются от древних прав своих. Поспешим ковать железо, пока горячо. Слово дух, а что написано пером, того не вырубишь топором, говорит мне всегда мой мужичок с ноготок, а борода с локоток.

Исполинская борода, вследствие поклона ее крохотного обладателя, едва не упала на пол.

– Не тебе, однако, борода, покончить это дело. А тебе вот что: отправь гонца к воеводе Даниле Холмскому, в его отчину, с словом моим, чтобы он немедля прибыл в Москву; да сходи к Образцу и скажи ему, что я жалую его, моего слугу: ставлю к нему лекаря-немчина, который-де на днях прибудет к нам; да накажи, принял бы его с хлебом-солью да с честью. Вот сколько я на тебя нагрузил.

– По усердию и силе, – отвечал Бородатый. – По ним возмогу снести и кентари твоих приказов.

– Ладно! А ты, Елизарович, съезди в Ростов и Ярославль икрепи законным узлом благое даяние... разумеешь?

– Разумею, господине!



Так выпроводил великий князь всех своих дельцов-домочадцев, кроме дворецкого. Гусева почтил он Елизаровичем: зато и обязанность его была нелегкая – понудить грозой и ласкою князей ростовского и ярославского к уступке Ивану Васильевичу своих владений, о которой они когда-то намекали. Русалка остался и умиленно посмотрел на великого князя, как бы хотел доложить ему, что имеет надобность нечто сказать.

– Ты что? – спросил Иван Васильевич.

– Позволишь ли молвить потаенное слово?.. Думал было схоронить на душе, не разгневать бы тебя, господине; да пречистая третий день во сне является, все понуждает: скажи, скажи...

– Ну, к бесу! говори без ужимок; время дорого.

– Ведомо ли тебе: жидовствующая ересь чернокнижника Схарии перешла из Новгорода, прозябает здесь, в Москве, многие пастыри духовные заражены ею, ближние твои бояре впали в эту ересь; главный из них печальник дяк твой Курицын, которого столько жалуешь своими милостями... Ведомо ли тебе, что они вводят в соблазн православных и даже (он осмотрелся кругом, не подслушал бы кто, и прибавил тише), даже твою невестку.

– Ведомо, – отвечал спокойно Иван Васильевич, – они занимаются наукою любомудрия – во здравие! Пускай себе, лишь бы своего дела не запускали! А если все бабы пересуды слушать, так и щей горшка не сварить, не только что царством править. Что ж до Курицына, то запрещаю тебе, и кому бы ни было, говорить о нем худое. Никогда не забуду, что он для меня сделал: крепкая дружба с Менгли-Гиреем, союзы с королем венгерским и господарем молдавским – все это его забота. И если я силен этими союзами и могу теперь надежно тягаться с Литвою, так за это поклон, да еще низкий поклон, Курицыну. Ведайте, добро и худо помню до гробовой доски и умею благодарить за то и другое. Выполни, шептун, десятую долю его, и ты спознаешь меня.

– Из усердия к твоему лицу, господине, князь великий, доложил тебе... не смог умолчать... православный народ гласно вопиет против тебя...

При этих словах раскалились очи у Ивана Васильевича. Он воспрянул с своей скамьи, вцепился могучею рукой в грудь Русалки и, тряся его, задыхаясь, вскричал:

– Народ?... Где он?... Подай мне его, чтобы я мог услышать его ропот и задушить, как тебя душу. Где этот народ, говори?... Отколь он взялся?... Есть на свете русское государство, и все оно, божьею милостью, во мне одном... Слышь, бездельник? Поди объяви это везде: на торжищах, в церквах, во всех сотнях, во всех концах, вели его прокричать и, коли мало голоса человеческого, вели это прозвонить колоколам, прогреметь пушкам. – Он оттолкнул от себя дворецкого и начал ходить большими шагами по избе. – Православный народ?... Не тот ли, что ползал два века у ног татар и поклонялся их деревянным болванам, целовал руки у Новгорода, у Пскова, у Литвы, падал в прах перед первым встречным, кто на него только дубину взял!.. Я первый отрезвил его от поганого хмеля, поднял на ноги и сказал ему: «Встань, опомнись, ты русин!» И этот смерд хочет вопиять против своего господина! Ныне оставляю этот народ, и что с ним станет? Сгинет, аки червь под ногою первого удалого прохожего!.. Поди, объяви Курицыну мою милость; скажи, что я жалую его, моего верного слугу, золотым кафтаном... слышь? с плеч моих! И скажи так, чтобы твой народ это знал... Теперь вон, поганый шептун!

Дворецкий бросился в ноги своему властителю.

– Помилуй, государь, отец наш! грех попутал, – вопил он. – Возьми свое нелюбие назад, а я тебе службу сослужу: будешь мною доволен... Князь верейский сильно захворал... с этой вестью нароком приехал ко мне родич мой... Поспеш, батюшка, гонца, пока не отдал богу душу.

Весть эта судорожно пробежала по сердцу великого князя; он был ею поражен, и немудрено. Сын князя верейского жил изгнанником в Литве: надо было царственному домостроителю захватить скорее отчину его, чтобы не помешали недруги.

– Хворает? – спросил он, переменяя в лице. – Шибко хворает, говоришь ты?

– Родич мой сказывает, вряд ли подымеется.

– Да, Михайло, ты можешь сослужить мне службу; никогда не забуду. Ты голова неглупая... не придумаю, как ныне оплошал... Лукавый, видно, попутал тебя в бабьи сплетни... правду молвить, впервой... А может быть, и неспросту! Встань... ты ведь никому не говорил еще о болезни верейского?

– Видит бог, никому! Зарой меня живого в землю, коли я кому промолвился. Знаю я, да ты, господине, да родич мой, и тому наказал, что прямо в петлю и меня и себя потащит, коли обмолвится.

– Так ты, мой любя (великий князь погладил его по голове, как наставник умного ученика), махни нынче же, сейчас, тихомолком в Верею... Скажем, захворал... Скажи, гони, умори хоть десяток лошадей, а в живых заставай князя Михайлу Андреевича... как хочешь, заставляй!.. Улести лаской, духовною речью, а если нужно, пугни... и привози ко мне скорей душевную грамоту, передает-де великому князю московскому свою отчину, всю без остатка, на вечные времена, за послушание сына.

А винен был этот несчастный сын, женатый на племяннице Софии Фоминишны, дочери Андрея Палеолога, только в том, что София подарила ей какое-то дорогое узорочье первой жены Иоанновой, которого великий князь обыскался. Это узорочье нужно было великому князю только для придирки: взамен снизал он Руси богатое ожерелье, в котором красовались Верея, Ярославец и Белоозеро.

– Не учить тебя стать! – продолжал Иван Васильевич. – Тебе сто рублей... слышь, сто рублей, и от меня спасибо!

Говоря это, он дрожал.

Сто рублей плясали уж в душе жадного дворецкого, но не сбили его с лукавого толка.

– А коли он протянет ножки до меня? – спросил он.

– Не может, не должен... слышь? или не приезжай назад.

– У меня и мертвый подпишет.

Тут Русалка досказал что-то мимикой.

С ласковым словом и ста рублями вперед был он отправлен в Верею. И грозы над ним как не бывало!.. Отчего ж оплошал он с докладом о жидовской ереси? Неужели в самом деле оплошал? О! нет, это была тонкая проделка. Надо было ему поддержать членов Схариевой секты, подкупивших его. Для достижения этой цели всего лучше было оговорить их же и стать на стороне противников, то есть народа; таким образом он представлял завистливой власти государя, что есть другая власть, которая осмеливается ему противиться хоть словом. Как рассчитано, так и случилось; великий князь вознегодовал на своих ценсоров. На случай же личной беды Русалка имел в запасе весть о болезни верейского князя. И там и тут остался он в выигрыше: от сектаторов получил благие дары, от Ивана Васильевича сто рублей – важная сумма в то время! – и приращение его милостей. За толчком он не гнался.

## Глава VII

### ЖИЛЬЦЫ КАМЕННЫХ ПАЛАТ

*Господинов двор, на семи верстах,  
На семи верстах, на осьми столбах.  
Посреди двора, посреди широка,  
Стоят три терема,  
Три терема златоверхие:  
В первом терему красно солнышко,  
Во втором терему светел месяц,  
В третьем терему часты звездочки.*

Внутри *города*, именно на том самом месте, где еще в наше время стоял каменный шатер для хранения пушек, в свою очередь сломанный, красовался дом московского воеводы и боярина Василия Федоровича Симского, по прозвищу Образца. Двор его одною стороною граничил к площадке, на которой стояла церковь Николы-лняного, при повороте вниз Константино-Еленовской улицы, а другою стороною к кремлевской стене. Этот дом был каменный, строен на славу иноземными мастерами и прозван ими *паластом* (palais),<sup>11</sup> почему и наши с этого времени стали называть каменные дома палатами. Тогда их было только два, Образцов и московского головы.<sup>12</sup>

Особенно на палаты воеводы ходили дивоваться толпы. Несколько недель не было от них отбою. Да и как не дивиться? Дитя, единица ли он или толпа единиц, любит игрушки; а дом Образца был большая каменная игрушка, невиданная на Руси. Мало что стены построены с иную улицу московскую: откуда ни поглядишь на него, везде затеи, выведенные будто волшебной рукой. Окна глубоко и украдкою уходят в дом, как бы с бережью для глаз хозяина неся туда свет; над каждым окном и под ним ветви пальмовые, что кидали в день Вайи под ноги Христу, да еще виноградные кисти, от которых упился Ной. Так зрители объясняли наружные украшения дома. Все это высечено из камня, покорного могучему искусству. Выпуклости выкрашены желтою краскою, а пустые между ними места голубою. Чудо как хорошо! Кровля из немецкого железа, выбитого так тонко, как лист на дереве, жаром горит. Посмотришь во двор, и там чудеса! Два крыльца сходят с обеих сторон дома, словно хотят обнять двор. Они держат свою покрывку, окаймленную подзорами, на витых столбиках, каких нет и у хоромин великокняжеских. Теремок прилеплен вверху у самой крыши, художеством ли человеческим или силою недоброю, и висит на воздухе, будто ласточкино гнездо. Внизу его приделан, ни дать ни взять, опрокинутый колокол. В теремку с трех сторон окна с мелкими круглыми стеклышками (диковина немалая в тогдашнее время). Когда ударит в него солнышко, он кажется фонарем, в котором горят множество свечей. Взглянешь в окно к стороне кремлевской стены, видны пушечный сарай, Красная площадь, лавки, Варьская улица и Спас в Чигасах за Яузою. Взглянешь в среднее окно – Великая улица по берегу Москвы-реки, река в излучинах своих от монастыря Симона до Воробьева села и все Замоскворечье как на блюдечке; ближе, под тобою, по городской горе взбираются избы одна над другою, держась за Константино-Еленовскую улицу, и видно все на дворах, будто на своем; еще ближе под тобою яблонный сад: кажется, вот все былинки в нем перечтешь. Из третьего окна *красная* сторона *города*, от великокняжеских хоромин по Тайнинские ворота, со всеми церквами своими, будто про тебя написана на листе. А когда бы видели вы сокольню на дворе: мастер пустил из нее стрелу с яблоком – играет себе на небе!

---

<sup>11</sup> дворец (*фр.*).

<sup>12</sup> Дмитрия Владимировича Ховрина.

Палаты эти долго казались хитрым делом лукавого. Хозяин их, воевода, сподвижник Даниила Дмитриевича Холмского при покорении Новгорода, первый по нем в ратном деле, был, конечно, не трус. Прозвание *Образца* дано ему было за то, что он бился всегда впереди своих дружин. Но когда надо было ему пробираться в новый дом, по сердцу его пробежала дрожь. Он скорее готов был встретиться один с десятью немецкими латниками или татарами, или вольницею новгородской, чем с нечистой силою, даже в одном лице. Правда, к его успокоению и семейства его, были приняты все меры против нечистого духа, которого могли занести в дом поганые иноземные строители. Курили и курили ладаном так, что можно было в нем задохнуться, пели молебны с окроплением богоявленскою водою двора, жилого и нежилого строения, водрузили над воротами и над всеми входами медные кресты с святыми изображениями, и чаще с изображением святого Никиты, который дубинкою побивает беса, и водворили божье милосердие. Таким образом, казалось, оградил новое жилище свое и от будущего наваждения нечистой силы. Новоселье отпраздновали в день *Симеона-летопроводца*, то есть первого сентября, который считался и первым днем нового года. Не забыли, однако ж, перед тем главного хозяина – домового гения, которого и поныне в деревнях называют этим именем: без него, говорят, и дом не стоит. Старшая в доме женщина сходила на пепелище прежнего жилья, вынула из печурки на черепок горящих угольев, *кого-то* пригласила оттуда и завернула в скатерть. Ворота настезь! Образец со всеми домочадцами вышел навстречу, неся хлеба-соли; поклон в пояс, еще и еще, потом униженно, поникнув седою головой и указывая *кому-то* путь в новый дом, приговаривал: «Дедушка! милости просим с нами на новое место». Тут отворились двери, стряпуха выпустила *кого-то* из скатерти в новую печурку, горящие уголья туда ж (не забыта и пища для таинственного огня), хлеб-соль поставлен на браном столе, наехали гости, и пошло веселье. Домовой пенат водворен: чего бояться? Лишь бы не рассердить его неугодой какой! Затем проходила зима подобру-поздорову. Только раз прогневался было *хозяин*: невзлюбил боярского вороного жеребца, недавно купленного: часто по ночам ерошил его, ездил по нем, словно сотня кошек, вытыкал войлок из его гривы, дул ему нестерпимо в ноздри и в уши. Догадались скоро, что *хозяину* масть не по шерсти. В угождение ему продали коня и не стали более держать вороных. Повесили также в конюшне медвежью голову, чтобы бездомные духи не входили в спор с *хозяином* за жилое владение, не осиливали его. С того времени домашний дух успокоился, а с ним и жильцы каменных палат, охраняемые его чадолюбивым надзором.

Да, Русь была тогда полна *чарования*! Родные предрассудки и поверья, остатки мира младенческого, мифического; духи и гении, налетевшие толпами из Индии и глубокого Севера и сроднившиеся с нашими богатырями и дурачками, царицы, принцы, рыцари Запада, принесенные к нам в котомках итальянских художников: все это населяло тогда дома, леса, воды и воздух и делало из нашей Руси какой-то поэтический, волшебный мир.

Духи встречали новорожденного на пороге жизни, качали его в колыбели, рвали с дитятею цветы на лугах, плескали в него, играючи, водой, аукались в лесах и заводили в свой лабиринт, где наши Тезеи могли убить лешего Минотавра не иначе, как выворотив одежду и заклятием, купленным у лихой бабы, или, все равно, русской Медеи. Духи поселялись в глаза, чтобы взглядом испортить кого, падали рассыпною звездою над женщиною, предавшеюся сладким полуночным грезам, тревожили недоброго человека в гробу или, проявляясь в лихом мертвеце, ночью выходили из домовища пугать прохожих, если православные забывали вколотить добрый кол в их могилу. Все необыкновенные случаи, все недуги и сильные страсти были делом духов.

В атмосфере, напитанной этим чарованием, жило и семейство Образца. Из кого ж оно заключалось, тотчас увидим.

Прочтите летописи того времени, и вам не один раз встретится имя Образца в войнах против Новгорода, ливонцев и татар. Посмотрели бы вы на Василия Федоровича, когда шесть-

десять с лишком лет осыпали голову его снегом; вы и тогда сказали б: этот взор, в проблески одушевления, должен был нападать на врага орлиным гневом; эта исполинская рука, вооруженная мечом, должна была укладывать под собою ряды мертвецов; эта грудь широкая, мохнатая, эта вся геркулесовская обстановка – созданы быть оплотом боевым. Заплатив дань отечеству, как воин, и за то почтенный саном боярина, тогда еще очень редким, он заплатил дань великому князю, как царедворец, построением, в угоду ему, каменных палат. В них жил он на покое, не тревожимый доселе Иоанном, любимый друзьями, уважаемый народом; добрый отец, грозный и попечительный господин, в них хотел он дать сладкий отдых последним годам своим и приготовить себя заранее к вечности делами веры и добра. Возвышаясь над толпою саном и богатством, он не отделялся от нее предрассудками. Ближнего любил по закону Христову, но в этом имени заключал одних своих земляков; что было только не русское, считал наравне с собакою. Итальянцев или фрязов, как тогда их называли, еще терпел он в своем доме и удостоивал своей беседы, потому что они строили или собирались строить дома божии; болонского художника Рудольфа Фиоравенти, иначе Аристотеля, уважал как розмысла, будущего зодчего Успенского собора, и более как отца мальчика, крещенного по-русски. Но немцев, поганных немцев, ненавидел всю силою души суровой, хотя не злой. Это чувство к ним, взявшее свой источник в народном предрассудке, было еще усилено особенным случаем. Им не мог он простить смерть милого, любимого детища, убитого в глазах его. Этому сыну только что минуло шестнадцать лет, только что совершили над ним обряд *пострига*, когда он увлек его из-под крыла матери в бой против ливонцев, которых тогда называли немцами.<sup>13</sup> Как он любовался воинственной красотой его, осененной шлемом, его юношеским пылом и отвагой, обещавшими знатного полководца! И эта краса, эти утешения и надежды скошены вдруг махом поганого меча! Прошло много лет, и все еще мечтался старцу образ прекрасного юноши, когда он, истекая кровью, приподнял из праха голову, обвитую сумраком смерти, перекрестился и бросил отцу взор... прощальный взор. Кони вражеские тут же его затоптали. О! этого взора не забудет отец и на смертном одре; не забудет он крика матери, требовавшей у него отчета, куда он девал милое детище. Мать недолго пережила эту потерю. Зато с тех пор Образец мстит всем немцам ненавистью к ним сильною, неумолимою. Убийце сына он не размозжил головы шестопером; нет, взяв его в плен, он привязал к хвосту коня и по пням, по камням примчал в лес на съедение волкам. Не скрывает он своей ненависти к немцам при самом великом князе; раз при нем назвал в лицо поганным басурманом<sup>14</sup> немецкого посла, рыцаря Поппеля. Едва могли заглушить гнев Ивана Васильевича по этому случаю. Великий князь, любивший, чтобы уважали то, что он удостоивает своего внимания, и ненавидели то, чего он не жалуется, хранил на сердце память об этом оскорблении, несмотря на великие заслуги Образца.

Еще был сын у воеводы Иван Хабар-Симской (заметьте, в тогдaшнее время дети часто не носили прозвания отца или, называемые так, впоследствии назывались иначе: эти прозвища давались или великим князем, или народом, по случаю подвига или худого дела, сообразно душевному или телесному качеству). Иван Хабар, двадцати двух или трех лет, чернобровый, черноглазый, статный, красивый, одним словом, тип русского молодца, пытал не раз отвагу свою против неприятеля, ходил с сурожанами охотником на Вятку и против мордвы на *лыжах*, тратил эту отвагу в переделках со своими, в ночных похождениях, в жизни молодецкой, разгульной.

– Эй, Иван! не сносить тебе головы, – говаривал ему отец.

– Станет на мой век и одной, батюшка! – был ответ его.

<sup>13</sup> «Поганые немцы не стали на срок на Обидном месте», «немцы прислали с святым словом», «немецкие божницы» – это все говорится в летописях о ливонцах и их церквях.

<sup>14</sup> Этим прозвищем, которое составилось из слова «бесермен», неверный, стали честить немцев уже при отце Иоанна III; может быть, и прежде. См. Историю Русского Народа Полевого, т. V, с. 134.

Нередко старик закрывал глаза на проказы сына, в надежде, что кипучая, буйная душа его переволнуется и, как бурные весенние потоки, войдет в свои берега. «Грани же, положенной богом, никто не переступит, – думал он, – судьбы своей не объедешь. Молодой конь перебесится, все-таки будет конь; кляча и смолоду все кляча».

Но лучшая утеха и надежда, ненаглядное сокровище старика, была дочь Анастасия. О красоте ее пробежала слава по всей Москве, сквозь стены родительского дома, через высокие тыны и ворота на запоре. Русские ценительницы прекрасного не находили в ней недостатков, кроме того, что она была немного тоненька и гибка, как молодая береза. Аристотель, который на своем веку видел много итальянок, немок и венгерок и потом имел случай видеть ее, художник Аристотель говаривал, что он ничего прекраснее ее не встречал.

– Синьорина Анастасия, – прибавлял он, – по белизне своей дитя снежного севера, но по зною темно-карих глаз, по неге, разлитой по всей ее наружности, ни дать ни взять соотечественница моя. Если бы я был живописец, то олицетворил бы ею пылающую зарю, когда она готова броситься в объятия своего лучезарного жениха.

Художник всегда останавливался перед ней с особенным восторгом. Иоанн *младой*, первый сын великого князя от первой жены, вбежал раз, неожиданный, в сад Образца за Хабаром-Симским, которого очень любил, увидал там сестру его и остановился перед ней весь не свой, как бы опаленный молнией. Он намерен был на ней жениться, но честолюбивый его отец, искавший в браке своих детей не сердечных, а политических связей, повел его к венцу с Еленою, дочерью Стефана, господаря молдавского (перекрещенного по-нашему в воеводу Волошского, почему и называли ее у нас Еленой Волошанкой). Старушки веда (все знающие, все ведающие, ворожейки) открыли кому-то, что княжич именно с того времени начал грустить и сохнуть. Никогда не переставал он питать к Хабару нежнейшей привязанности, в которой, может быть, скрывалось другое чувство.

Анастасия вся, и телом и душою, была какая-то дивная. С малолетства ее провидение наложило на нее печать чудесного. Когда она родилась, упала звезда над домом; на груди было у ней родимое пятнышко, похожее на крест в сердце. Десятилетней снились палаты и сады, видом не виданные на земле, и лица красоты неописанной, и голоса, которые пели, и гусли-самогуды, которые играли, будто над ее сердцем, так хорошо, так умильно, что и рассказать не можно. А когда она, во время этих снов, просыпалась, то чувствовала у ног своих легкое бремя, и казалось ей, кто-то лежит у них, свернув белые крылья. И было ей сладко и страшно, и все вмиг исчезало. Часто задумывалась она, часто грустила, сама не зная о чем. Нередко, простершись перед иконою божией матери, плакала; но эти слезы старалась утаить от людей, как святыню, которую невидимо посылали ей свыше. Все чудесное любила она, и потому любила сказки, эти изустные романы, эти народные поэмы того времени. С какою жадностью слушала их от своей мамки! Зато каких диковинок ни развивала в них красноречивая старушка перед юным пламенным воображением своей питомицы! Анастасия, предаваясь этой поэзии, нередко забывала сон и пищу; нередко самые сны доканчивали ей недосказанную сказку, и еще живее, нежели мамка, еще красноречивее.

## Глава VIII

### СКАЗОЧНИК И ВЕСТНИК

Мы сказали уж, что наступил день Герасима-грачевника. Было время за полдень. Василий Федорович Образец, по русскому обычаю, отдохнув после обеда, спешил умыться, чтобы освежить горевшее от сна лицо. Это сделано без сторонней помощи: медный рукомойник, подаренье знаменитого Аристотеля, повешен над лоханью, чистою, будто сейчас вышла из рук деревщика. Чудный дар! тронешь снизу прутик, и вода бьет из него ключом. Браный утиральник, обшитый тонкими кружевами, рукоделье Анастасии, висел на гвозде, всегда к услугам хозяина. Роговой гребень, помоченный в квасу с медом, пройдя по белым прядям волос его, пригладил и умастил их. Хорошо ли была сделана уборка, нельзя было самому знать, потому что в тогдешнее время зеркал мало кто и видывал. Тот же Аристотель подарил было Анастасии кусочек зеркала; да как жильцы каменных палат посмотрелись в него и, наше место свято! оборотили в стекло свои лики, да как увидели, что нечистый отводит глаза и шутит над ними, так закинули волшебное стеклышко в поганое болото, не сказав про то фрязу. Убравшись, помолился старец, надел *летник* и перешел в *клеть*, которую называл своею оружейною. Это была горница довольно просторная. На стене, красовавшейся переплетами кирпичей, висели железные шишаки грубой работы, *колонтари* (латы), писанные серебром, и простые, железные, на которых ржавчина въелась кровавыми пятнами, кончары (оружие вроде меча и кинжала, немного поменее первого и поболее второго), из коих некоторые были с искусною золотою насечкою и украшениями, изобличающими восток, *палицы*, *сулицы* (металльные копья), *шестопер*, знак воеводства, как ныне маршалский жезл, и несколько железных щитов с конусными выемками. В углу стоял на искосе образ Георгия Победоносца. От стен несколько отступились две лавки, покрытые суконными полавочниками; между ними вытягивался дубовый стол, девственной чистоты, с резными ножками и ящиками, а на нем стояли *оловянник* и серебряная стопа и лежала серебряная *черпальница*. Перед столом, на почетном месте, чванилась своею узорностью диковинная *седальница*, вроде складных кресел, изобретения и мастерства какого-то фряза.

Образец напенил стопу янтарного меду и едва осушил ее, как докладчик – кольцо – застучал в столб приворотный и послышался сторожевой лай. Видно было по лицу хозяина, что пришли к нему гости жданные. Это вскоре оправдалось; посетители вошли к нему без доклада. Один был старичок небольшого роста, начинавший уже горбиться под ношею лет; темные волосы слабо тенили серебряные кудри его; от маковки головы до конца век левого глаза врезался глубокий шрам... но вы уж, вероятно, узнали странника и сказочника, Афанасия Никитина. Скажем только, что он здесь казался десятью годами моложе, нежели мы его видели в тюрьме Дмитрия Иоанновича, хотя был промежуток между этим и тем временем более двадцати лет. Еще прибавить надо: здесь лицо его носило свежие следы полуденного солнца, принесенные из недавнего путешествия в Индию, и потому сильный загар в конце зимы давал ему какую-то чуждую русским физиономию. Не знаю, упомянул ли я в первом рассказе о нем, что добродушие прижилось на этом лице. Другой гость был дитя, лет под четырнадцать, пригожее, живое. В больших голубых глазах его вы могли ясно видеть, что ум был всегда на страже у этого любимца божьего; он поднимал голову с какою-то благородною самонадеянностью и осанкой. Кудри его белокурых волос худо повиновались ножницам – остриженные в кружок, по-русски, они, назло им, вились своенравно и образовали на голове род венка. И старик и мальчик носили русское платье, только первый очень бедное, другой, напротив, из тонкого немецкого сукна, с опушкою соболя. Несмотря на это видимое превосходство состояния, последний давал первому почет везде, где только имел случай показать ему свое уважение. Оба, вошедши в клеть, сотворили три крестные знамения перед иконой, произнеся: «Господи,

помилуй!» – и потом поклонились хозяину, с приветствием: «Подай, боже, здравия!» Старичок остановился у дверей и положил близ них свой посох.

– Здорово, Андрюша, – сказал Василий Федорович, сидя, с роскошным самодовольством, на креселках своих, кряхтевших под дородною тяжестью его, и поцеловал в маковку мальчика, к нему подошедшего; потом, обратясь к старику, примолвил: – Добро пожаловать, Афоня! Садись-ка на большое место: сказочнику и страннику везде почет. Потешь же нас ныне словом о том, как в *Индусах* войну ведут, оллоперводигер.

Употребляя это варварское слово, Образец подшучивал над сказочником, любившим в своих повестях примешивать очень часто какие-то непонятные слова, которые называл индустанскими.

– Воевода на упокое, как старый сокол, хоть и летать на охоту невмочь, а все рвется туда крылами соколиными. Будет, боярин, по твоему сказанному, как по-писаному. Хлеб-соль твою не уроним в грязь, – отвечал старик, помещаясь с бережью на лавку. – Не замарать бы полавочника, батюшка? кажись, сукнецо-то заморское.

– Постелем и другой тогда; не занять взять. Ну, что твой отец, Андрюша? – прибавил Образец, держа мальчика между колен и положи ему руку на плечо.

– Все грустит что-то: Иван Васильевич дает ему мало места под Успенье.

– А ему небось хотелось целый город захватить?

– Ведь он храм богу, создателю мира, будет строить, так надо ему простор, – отвечал мальчик с гордостью.

– Люблю Андрея за умную речь! – воскликнул боярин с умилением. – Однако время терять попусту не для чего. Слтай к своей крестной матери и позови ее сюда, слушать-де рассказы странника Афанасия Никитина.

И Андрей, сын зодчего Аристотеля, полетел исполнять волю боярина. Из клетки, которую покуда будем звать оружейною, железные двери, запиравшиеся сзади крюком, а на этот раз отворенные, вели в темные переходы; отсюда, по лесенке с перилами, можно было пробраться в терем Анастасии. С другой стороны, из задних покоев боярина, на правом крыле дома, вилась к тому же терему другая лестница, и обе, будто играючи, сходились в теплых верхних сенцах, разделявших покои Анастасии от клетки ее мамки.

Андрей, достигнув этих сенцов, постучал в дверь, обитую войлоком, и, настроив свой голос, сколько мог грубее и вместе жалобнее, завопил:

Детушки, мелкота,  
Отворите ворота:  
Я, мать ваша, пришла,  
Молока принесла...

Из-за двери послышался приятный голос:

– Перепугал ты меня, волчонок!.. Что тебе?

Тут посланный рассказал, зачем пришел. Слышно было, как щелкнул крючок, и вслед за тем вышла Анастасия, неся подушечку с кружевным изделием. Радость живописалась на прекрасном лице ее.

– Здорово, голубчик, – сказала она, поцеловав своего крестника в голову. Он взял от нее подушечку, и оба, как птицы, перелетели в оружейную клеть.

– Подобру ль поздорову, дедушка? – спросила Анастасия, поклонясь низенько страннику, и спешила с своим рукодельем уместиться близ него на лавке. Крестник расположился на колодке у ног Образца.

– Вашими молитвами плетемся понемногу, шажком да с оглядкою, – отвечал Афанасий Никитин. – Ты все ли по-прежнему катишься, моя жемчужина перекатная, ты ль у батюшки у



родимого на ладонушке? Уселись ли вы, мои милостивцы, и готовы ли опять слушать о моем грешном хождении за три моря, за синие, волновые, а первое море – не забудьте – Дербентское, или дория Хвалынская, второе море – Индейское, дория Индустанская, третье море – Черное, дория Стамбульская.

Моря эти были коньком тверчанина; они, казалось, служили в его рассказах то позой, то припевом.

– Уселись, – сказал Образец, и все в клети сделалось внимание.

Как хорошо расположились эти четыре фигуры! Как пригож этот старец, без бурных страстей, без упрека оканчивающий свой земной путь! Кажется, так и видишь его в белой чистой одежде, готового предстать перед верховного судью. Образец надо всеми господствует летами, широкою, могучею осанкой и патриархальным видом. Перекрестив руки на посох, он закрыл их бородой, пушистою, как тонкое руно агнца; румянец здоровья, приправленный стопою крепкого меда, сквозит сквозь снег ее, густо покрывший щеки. Он с особенным вниманием и удовольствием слушает рассказчика: это удовольствие прикорнуло на устах его, ярко просвечивает в его глазах. Изредка насмешливая улыбка перебегает по губам, но видно, что это невинное дитя иронии, вызванное на свет из души незлобной хвастовством Афони, а без этого грешка, знаете вы, ни один сказочник не обходится. То, покоя спину на отвале кресел, он закрыл глаза и, положив широкою, мохнатую руку на голову Андрюши, тихонько, нежно перебирает мягкой лен его волос. На лице его удовольствие любопытства сменилось умилением; он не дремлет, но, кажется, забылся в сладких грезах; старцу мечтается милый, незабвенный сын, которого он ласкает. Когда он открыл глаза, на белых ресницах остались следы трогательной беседы его с неземным гостем. Но когда он заметил, что слеза, изменившая его тайне душевной, возмутила собеседников и встревожила дочь, прежнее удовольствие снова озарило его лицо и водворило общее радостное внимание. Как хорош и этот сказочник Полифем, этот чудный выродок между невежеством своих соотечественников, гонимый духом любознательности с колыбели Волги к истоку Ганга, с торгового прилавка, под сенью Спасова дома, в храм, где поклоняются золотому волю, не понимающий, что он совершил подвиг, который мог бы в стране просвещенной дать ему славное имя. Он рассказывает свой подвиг то с простодушием, то с лукавством младенца. О! и этот, конечно, будет в числе тех избранных, которых господь любил ласкать и о которых говорит, чтобы не возбраняли им подходить к нему. А дочь Образца, юное, прекрасное творение, возбуждающее чувство удивления в художнике, который понимает красоту, и между тем не знающая, что она так хороша, невинная, неопытная и между тем полная жизни, готовая перебежать через край! Посмотрите, как руки ее, не доплета заделанного узора, поднялись и остались в этом положении. Она вся внимание, она ходит со странником рука об руку по берегам Ганга; лицо ее горит, будто от тамошнего солнца; глаза, вслед за воображением, пожирают пространство. А это дитя, переброшенное из померанцевых рощей Авзонии, из гондолы, качаемой под гармоническую песнь любви волнами Адриатики, на снежные сугробы Московии, чтобы найти в ней новое отечество с его верой и обычаями? С каким удовольствием поддается он ласкам Образца, которые, понимает он очень хорошо, принадлежат не ему! С каким вниманием слушает рассказы странника! Ни детские приманки, ни дары и игры, так обольстительные в его лета, не могли б оторвать его от умной беседы со старшими. Он уж не по летам сильно сочувствует всему доброму, великому и доблестному. Будто молодой конь на зов военной трубы, он готов, кажется, по первому призыву долга ринуться в битву с неправдою и насилием. Как тепла эта семейная картина! каким полусветом домашнего счастья, тихих, невинных нравов освещена она, будто патриархальное семейство под лучом лампы, горящей перед образом божественного младенца!

Мы сказали, что все сделалось внимание; надо пояснить, что, прежде чем настоящий рассказ оковал общее внимание, был еще следующий прелюдий.

Когда слушатели уселись, Афанасий Никитин спросил дочь Образца, помнит ли, что прежде им рассказано.

– Оборони боже забыть! – отвечала Анастасия. – Ты так хорошо рассказываешь, дедушка, будто все наяву в очах моих деется. Пожалуй, я тебе повторю вкратце. Пошел ты из своей родины, из Твери, от святого Спаса златоверхого, с его милостью, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Геннадия; потом поплыл Волгою, в Калязине взял благословение у игумена Макария; в Нижнем Новгороде ждал татарского посла, что ехал восвояси от нашего великого князя Ивана с кречетами; тут же пристали к вам наши русские, что шли по-твоему в дальнюю сторону, и с ними потянул ты Волгою. На какой-то реке напали на вас татары, и поднялась у вас с ними сеча кровавая, и многие из вас положили тут головы; здесь-то порубили тебе, бедняжке, череп и глаз. Недаром я этих татар не люблю, как будто сердце вещует и мне от них беду.

– По мне, поганее немцев народа нет, – перебил боярин, пользуясь этим случаем, чтобы излить на них свою ненависть.

Анастасия продолжала:

– Море Дербентское, сказывал ты, дедушка, бездонное. Когда русалки полощутся в нем и чешут его своими серебряными гребнями, летишь по нем, как лебедь белокрылый; а залягут с лукавством на дне и ухватятся за судно, стоишь на одном месте, будто прикованный: ни ветерок не вздохнет, ни волна не всплеснет; днем над тобою небо горит и под тобою море горит; ночью господь унижет небо звездами, как золотыми дробницами, и русалки усыпят воду такими ж звездами. А как взбеленятся они и учнут качать судно, так подымут его высоко-высоко, кажись, можно звездочку схватить, и потом окунут на дно и разобьют в щепы о камень, если не успеешь прочесть: «Помилуй меня, боже!» От одного помышления сердце обмирает, а все-таки поплескалась бы на этом море сизой утицей, белую лебедушкой.

– Ах ты моя ластовица, сладкоглаголивая, щекотливая, – прервал странник. – Ты словно летала со мною по морям. Правда, много горя и бед претерпел я, грешный раб божий! Да и то к слову молвить: охота пуще неволи. Вот я не больше был Андрея Аристотелева, а едва ль не все Тверское княжество обошел. Бывало, что лето, то уйду с богомольцами, куда они поплетутся, или пристану к обозу купеческому. Подрос, и замыслам моим не было конца. Идти да идти далеко, на край света, поглядеть своими очами, что делается в божьем мире, какие звери, птицы, люди живут в разных странах! Все это хотелось мне посмотреть, словно, прости господи, какой дух во мне сидел и приказывал мне странствовать. Да и ныне, вот как сижу на святой Руси, в палатах белокаменных, в тепле, на суконных полавочниках, у боярина-хлебосольца, и пью его меды сладкие, сознаться ли вам, мои милостивцы, и ныне сердце просится за тридевять земель в тридесятое царство. Был я на востоке солнечном, хотелось бы теперь на запад; да немощи одолели... Однако воротимся к нашему грешному странствию, за три моря за синия, оллоперводигер, а первое море...

Нетерпеливая Анастасия перебила его речь:

– Помним, дедушка, помним, много ты бед и горя претерпел. У кого из вас что было на Руси, тот пошел на Русь, а у кого ничего не было ни на душе, ни за душой, поплел, куда глаза его понесли. Ты пошел в Баку, где горит из земли огонь неугасимый. Господи, господи, как мудро земля твоя устроена! А потом взял ты *велик день* в Гурмузе, где солнце палит человека, будто варом обдаст. И пришел ты наконец в стольный град великого султана индусов. А в той стране есть обезьяны, с руками и с ногами и со смыслом человеческим, только что не говорят по-нашему. Обезьяны те живут в лесу, и есть у них князь обезьянской; когда кто их обидит, жалуются князю своему: придут на град, дворы развалиют и людей побьют. Еще в той стороне есть птица *гукук*, летает по ночам и кличет: *кук-кук*; на которой хоромине сядет, тут человек умрет. А если кто захочет ее убить, у ней изо рта огонь выйдет.

Вдруг при этих словах послышалось «тук, тук», будто кто клевом долбил, а потом крик ворона (может статья, и вороний). Рассказчица онемела; все, кроме Андрюши, озирались друг на друга и сотворили крестное знамение, приговаривая: «С нами сила крестная! Господи, спаси от беды!»

Веселый вид мальчика и умные шутки его скоро рассеяли их страх. Когда они пришли в себя, Афанасий Никитин, покашливая, перенял рассказ от дочери хозяина.

– Индустанская земля людна вельми и пышна вельми, – начал он...

– Ты опять отобьешься от речи, как в индусах войну ведут, – перебил воевода, желавший, чтобы рассказом о ратных делах отвели совсем душу его от грустного впечатления, сделанного на нее криком ворона.

– А вот сейчас, милостивец, к этому-то речь и веду. А первое-то море Дербентское...

– Или дория Хвалынская, оллоперводигер, – прервал, смеясь, Андрюша. – Мы это, дедушка, давно знаем.

Воевода погрозил на него пальцем; Анастасия навела странника на настоящий рассказ его, который он так продолжал:

– Салтана носят на кровати золотой; над ним терем аскамитный с маковицей золотой, а над ней горит яхонт с куриное яйцо. Перед салтаном ведут до двадцати коней в санях золотых, за ним на конях триста человек, да пеших пятьсот, да трубников, варганников и свирельников по десяти человек. А коли выезжает на потеху с матерью и с женою, с ним человек на конях десять тысяч и пеших пятьдесят тысяч, слонов триста, наряженных в доспехи золоченые, с *городками*<sup>15</sup> на них коваными, а в городках по шести человек в доспехах, с пушками и с пищальми. А на больших слонах по двенадцати человек, да на всяком по два *прапорца*,<sup>16</sup> к зубьям повязаны великие мечи по *кентарю*,<sup>17</sup> а к рылу великие железные гири; промеж ушей сидит человек в доспехах, с крюком железным, которым его правит. Перед ним идут по сту трубников и плясцов, да коней простых триста в санях золотых, да обезьян за ним сто, да позорных женщин сто. А на салтане кафтан весь сажень яхонтами, шапка – верх алмаз великой: при солнце так и слепит глаза, словно *блиставица*,<sup>18</sup> *сайдак*<sup>19</sup> золотой усыпан яхонтами, да три сабли на нем, золотом кованы, седло золотое и *снасть*<sup>20</sup> золотая, и все золото. За ним благой слон идет, весь в камке наряжен, цепь железная во рту, обивает коней и людей, кто бы ни наступил близко на салтана. В его же салтанском дворе семеро ворот, а в воротах сидит по сту сторожей да по сту писцов-кафаров; кто пойдет, они записывают, и кто выйдет, записывают. А двор его чуден вельми, все на вырезе да на золоте, и последний камень вырезан да золотом описан вельми чудно. Бутханы<sup>21</sup> их без дверей и ставлены на восток. Бут<sup>22</sup> вырезан из камня из черного, вельми велик; хвост у него через него, руку правую поднял высоко да простер ее, аки *Устенеян*,<sup>23</sup> царь цареградский; в левой руке у него копье, а на нем нет ничего; видение у него и зад обезьянские. Перед бутом стоит вол вельми великой, вырезан из черного камня и весь позолочен; у него рога окованы медью, на шее триста колокольцев, и копыта подкованы медью. И целуют его в копыто, и сыплют на него цветы. Внутри в бутхан ездят на волах. Индеяне же вола зовут отцом, а корову матерью. А *намаз*<sup>24</sup> же их на восток: обе руки поднимут высоко

---

<sup>15</sup> Башенками.

<sup>16</sup> Знамя.

<sup>17</sup> Quintal, вес.

<sup>18</sup> Молния

<sup>19</sup> Колчан.

<sup>20</sup> Сбруя.

<sup>21</sup> Храмы.

<sup>22</sup> Идол.

<sup>23</sup> Юстиниан.

<sup>24</sup> моление.

и кладут на темя, потом ложатся ниц на землю, да все растянутся по земле – то их поклоны. Индейцы не едят никакого мяса: ни яловины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины. Когда едят что, кроются от бесермен, чтобы не посмотрел кто в горнец и в яству; а только посмотрит кто, и они той яствы не вкушают. А едят, покрываются платом, чтобы никто не видел их. Когда ж есть садятся, умывают руки и ноги и рот пополаскивают. А кто у них умрет, и они тех жгут, да и пепел сыплют на воду...

И много, много рассказывал одноглазый странник о нравах и обычаях индейцев, и дошел он наконец до того, как в Индусах войну ведут. Тут застучал докладчик, кольцо, – и оборвал нить его рассказа. Послышался конский топот и вслед за тем суeta слуг на дворе и в сенях. В оружейную вбежал Хабар-Симской и хотел что-то говорить, но отец предупредил его:

– Не в басурманы ли готовишься, Иван, что входишь в клеть, не перекрестив лба, не поклонясь добрым людям? Голова, что ли, свалится с плеч от этого поклона?

Сын Образца, покраснев, спешил сотворить перед иконою три крестные знамения и поклониться страннику и Андрею; потом стал в уважительном положении и сказал:

– Дело было к спеху... приехал от Ивана Васильевича дьяк Бородатый.

– Давно ли буйная головушка стала бояться государевых дьяков? Разве набедовал что?

– Если бы так, не стал бы кланяться о помиловании, хоть бы великому князю!

– С таким обычаем немудрено попасть под топор.

– Тогда разве ударю челом, и то матери сырой земле. А теперь нагрянула беда, только не на меня, а на дом наш. Дьяк приехал по приказу государя и поведал мне...

Боярин не дал договорить сыну.

– Пусть сам поведает мне... Видно, длинна борода, да ум короток. Прикажи холопам звать государева посланного и сам встретить его с почетом.

Пока отец с сыном переговаривались, сказочника, Анастасии и крестника ее не стало в оружейной. Боярин, переодевшись в лучшую одежду, нежели в какой был, возвратился в оружейную, чтобы принять дьяка. Этот не заставил себя долго ждать. Сначала показалась исполинская борода, а потом маленький человечек, провожаемый Хабаром, который ухаживал за ним с ужимками.

– Господин наш, князь великой, всея Руси государь, Иван Васильевич, – заговорил, или, лучше сказать, запел дьяк в нос, – от пресветлого лица своего избрал меня, своего недостойного холопа, сказать тебе, боярину: едет к нам от немцев лекарь Онтон, вельми искусный в целении всяких недугов; остается ему до Москвы только три дня пути; а поелику великий государь соизволил, чтобы врач, ради всякого недоброго случая... от чего сохрани... каковой отпахни от него ангелы и архангелы крылами своими, яко... от чего... каковой...

Оратор смешался, потеряв нить своей речи; но, подумав немного, продолжал твердым голосом:

– Великий государь соизволил, чтобы врач тот, немчин Онтон, находился неподалеку от пресветлого лица его. И потому жалует тебя, боярин, своею милостью, уложил отвести того немчина постоем на твоих палатах, избрав в них лучшие хоромы с сенцами...

Надо было видеть, что делалось на лице боярина при слушании этого приказа. Он побледнел, губы его дрожали. Немчин, поганый немчин, басурман, латынщик, один из убийц сына его, будет жить с ним под одною кровлею, осквернит святыню его дома, опозорит его старость!.. А делать нечего; примешь страшного постояльца, да еще с хлебом-солью, с должным почетом. Таков наказ великого князя. Если б Образец не знал, что Иван Васильевич любит то и гнуть, что противится, и не нашел еще железной души, которой не выковал по-своему, то и в таком случае не смел бы не послушаться. Имя государево, второе по боге, держит грозно и честно по старине, по наказу родительскому.

– Я и все мое божье да государево, – отвечал боярин скрепя сердце. – Выбирай в дому моем клетки, которые тебе полюбятся.

– Только не светлицу сестры моей! – воскликнул Хабар. – Не останется тот жив, кто чужой заглянет в нее.

– Молчи, – закричал грозно боярин, – курицу яйца не учат! – Потом, оборотясь к дьяку, примолвил: – Исполни волю нашего господина.

Скоро выбор сделан, потому что он заранее был назначен Русалкою. Половина к стороне кремлевской стены, где помещались сенцы, оружейная и подле нее угловая горница были назначены под постой лекаря. Сверх того, обычай требовал угостить государева посланного. Пошли нехотя ходить стопы. На этот раз сладкие меды казались боярину зелием; ничем не мог он запить тоски своей. Крохотный дьяк, которому надо было бы тянуть наперстками, окунулся, как муха, на дно десятой стопы.

Покойся, малютка, до радостного пробуждения!

Воевода ушел на свою половину (которую будем отныне звать хозяйскою) и отдал сыну приказ уложить дьяка и выпроводить с честью домой, когда он протрезвится. Таков был закон гостеприимства, хотя бы гость для хозяина хуже татарина. Но разгульная голова – Хабар – рассудил иначе.

– погоди, – сказал он, смотря на опьянелого дьяка, – погоди, вещий воронок! я окорную тебе крылья, чтобы вперед не летал к нам с худыми вестями.

И Хабар отыскал у сестриной мамки крепкие свивальники и простыню, опутал ею дьяка и свил его, как младенца. Исполинская борода его расчесана и выставлена во всей гордой красе. Когда все это было сделано, умильная, пышная, испеченная рожица малютки улыбнулась. Нет, этой улыбки Хабар не отдал бы за богатые дары; за нее готов он был просидеть целый месяц в черной избе. В охапку дитя свое – и прямо со двора. Лишь только увидали на улицах вспеленутого малютку с ужасной бородой, встречные, поперечные, торговавшие, работавшие, все бросились к ней и составили шумную, веселую процессию. Восклицания, смех, хохот, крики огласили воздух. Настоящий праздник Момуса! Толпы росли и росли и наконец запрудили улицу. Только те, которые находились поближе к главному виновнику этого торжества, могли понять, что они видели; но чем далее кто был от него, тем чуднее получал о нем вести. Иной кричал: «Родился мальчик с саженой бородой!» Другой: «Упала с неба звезда бородатая!» Кто: «Нашли уроду, живую голову с бороною!» И не укласть от Москвы до Цареграда всех диковинок, которые выдавали о бороде! Старость видела в этой бороде кончину мира и пришествие антихриста, молодость рада была посмеяться над невидальщиной. Толкали друг друга, дрались, платили деньги, лишь бы увидеть бороду. Вмешались недельщики (тогдашняя полиция); угрозы их, палки, наконец самое имя великого князя – ничто не помогло.

Процессия шла себе далее и остановилась не прежде, как у избы дьяка Бородатого, который успел отрезвиться, но не мог прийти в себя от шуму и сборища, его окружавшего, не мог придумать, что с ним деется. Долго не хотели дворчане впустить к себе своего господина и, только убежденные его голосом и подлинностью бороды, приняли его с бережью на свои руки. Шутка эта дошла скоро и до хоромин великокняжеских.

Между тем как происходила эта потеха, затеянная удалым Хабаром, какой ужас наполнил дом отца его, когда узнали домочадцы, что между ними поселится немчин! Еще более усилился этот страх вестями с разных сторон об ужасном постояльце. Одни уверяли – он держится жидовской ереси; другие – он сам жид и везется в русскую землю своим братом, евреем; иные прибавляли – он колдун, морит и воскрешает зельями, костями мертвых, нашептывает судьбу над кровью младенцев, в череpe человеческом, приворачивает к себе крюком, сделанным из когтей нечистого... Чего еще страшного не говорили о нем? И облик-то у него должен быть нечеловеческий, какая-нибудь харя с клыком и с совиными ушами! Каков постоялец!.. Пришли черные дни на Образца и семейство его. Сам он будто во второй раз потерял сына и овдовел; сын негодует и пылит, что горный поток шумит, дочка, наслушавшись ужасов, то дрожит, как осиновый лист, то плачет – что река льется. Не смеет она и выглянуть из волокового окна

своего терема. Зачем Василий Федорович строил такой красивый дом? зачем строил его так близко от государевых палат? Видно, во всем этом соблазнил его лукавый: хотел похвастаться невидальщиной. Грех попутал!.. Что станет с ним, сыном и дочерью? Лучше б не родиться никому из них!..

А вся беда оттого, что у боярина в доме станет постоем немчин!

Придумали, однако ж, все возможное, чтобы поганый дух с православным не сообщался. Опять окропление! опять курение, так что сквозь сизую пелену дыма трудно различать предметы! Опять моления с земными поклонами об ограждении от бесовского наваждения! Вот и медный крест с шумом и завыванием прибит над отделением постояльца, как будто последний гвоздь, которым приколачивают крышу над гробом милого человека. Этого мало: нечистые уста басурмана могут ли, должны ли прикасаться к той посуде, из которой вкушают православные, крещеные! Статочное ли дело! Купили новые оловянные мисы, черпальцы, чары, склянницы и прочее и прочее, что нужно было для стола немчина. Все это не должно уж никогда переходить на половину православную и после выезда его обречено всесожжению. Двор разгородили высоким тыном, сделали другие ворота на половину басурманскую. Для услуги лекарю Онтону назначили паробка, лет под двадцать, а почему именно его – была важная причина. Он был без роду, без племени, круглый сирота: эта причина заставила бы наших предков еще более заботиться о нем. Нет, не потому обрekli его на жертву, будто на съедение *змею-горынычу*, а потому, что он был *недокрещенец* (другого имени ему не знали). В то время, как его крестили, поднялась ужасная гроза, и великое таинство не было dokonчено. Это натвердили ему с малолетства. Какой веры был он, сам не знал и потому не ходил никогда в церковь. Как нарочно, готовый слуга басурману!

## Глава IX ПРИЕЗД И ВСТРЕЧА

*Не надобно думать, чтобы тогдашние дороги (то есть в XV веке)  
походили на нынешний шоссе от Москвы до Петербурга!!  
«Клятва при гробе господнем», Полевого*

По смоленской дороге, верстах в семи от Москвы, ныряло в снежных сугробах несколько саней, длинных-предлинных, с беседками из обручей, обтянутых парусиной, наподобие тех повозок, какие видим и ныне у приезжих к нам из Польши жидов. Высокие, худощавые лошади, нерусской породы, казавшиеся еще выше от огромных хомутинов, испещренных медными полумесяцами, звездами и яблоками, давали знать о мере своего хода чудным строем побрякушек такого же металла. На передках сидели большею частью жида. Кажется, я уж сказал, что в тогдашнее время не было выгодной должности, которую бы не брали на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком; один меч им не дался. Особенно на Руси, несмотря на народную ненависть к ним, во Пскове, в Новгороде и Москве шныряли еврей-суконники, извозчики, толмачи, сектаторы и послы. Удача им вывозила из Руси соболей, неудача оставляла там их голову.

В авангарде, из-под ощипанного малахая и засаленного тулупа, торчала, как флюгер, острокопеченная бородка и развевались пейсики, опушенные морозом. Серые, как у сыча, глаза, казалось, пытали даль. Въехав на Поклонную гору, еврей проворно соскочил с передка. Перед ним прекрасный день запоздалой зимы расстилал окружность на несколько десятков верст. Он протер глаза, еще раз остановил лошадей, подскочил к беседке и, ударив по ней бичом, сказал таким радостным, торжественным голосом, как бы дело шло об открытии на безбрежном океане обитаемого острова:

– Kucke, kucke, geschwind, Herr! (Посмотрите скорее, скорее, господин!) Вот Москва!..

– Москва?.. – спросил кто-то из повозки таким же радостным, но дрожащим голосом, и вслед за тем вынырнула из беседки голова, покрытая меховым беретом, и выглянуло приятное, разбурманенное морозом лицо молодого человека. – Москва? – повторил он, спустя несколькими тонами ниже: – Да где же она?..

– Вот, вот на горе, меж лесом, – отвечал еврей; но, заметив, что на лице его спутника набегало неудовольствие обманутого ожидания, он прибавил со смущением: – Азе на вас трудно угодить, господин! Вам, мзет быть, хотелось бы Иерусалима!.. Зацем зе вы не жили во времена Соломона? А мзет статься, вам хочется Кролевца, Липецка или еще чего?

– Да, по твоим словам, честный Захарий, чего-нибудь подобного! – отвечал насмешливо молодой путник и погрузился вдаль. Он все еще искал Москвы, столицы великого княжества, с ее блестящими дворцами, золотыми главами величественных храмов, золотыми шпилями стрельниц, вонзенных в небо, и видел перед собою, на снежном скате горы, безобразную грудку домишек, частью заключенную в сломанной ограде, частью переброшенную через нее; видел все это обхваченное черною щетиною леса, из которого кое-где выглядывали низенькие каменные церкви монастырей. Река, в летнее время придававшая городу много красоты, была тогда окована льдами и едва означалась извилинами снежных берегов своих. Правда, Москву обсели кругом многочисленные села, слободы и пригородки, отделенные от нее то полями, то лесом и кое-где державшиеся за нее нитями длинных *концов*; правда, что мысль о соединении всех этих слобод, пригородков и сел должна была изумить огромностью будущей русской столицы; но первое впечатление, полученное через глаза, было сделано, и Москва заключалась для наших путников в том тесном объеме, который и доныне посреди города сохранил имя *города*. Может статься, в это самое время Антон вспомнил душистый воздух Италии, тамошние дворцы и

храмы под куполом роскошного неба, высокие пирамиды тополей и виноградные лозы своего отечества; может статься, он вспомнил слова Фиоравенти: «*Пройдя через эти ворота, назад не возвращаются*»; вспомнил слезы матери – и грустно поникнул головой.

Из этих дум вырвали его голоса, кругом раздавшиеся:

– Москва, Москва, синьор Антонио! – и повозку его обступили человек пять, разных лет, в зимних епанчах. Школьники, возвращающиеся домой на вакацию, не с большою радостью приветствуют колокольню родного села.

– Да какой негодный городишко! – сказал один из них.

– Кочевье дикарей! – примолвил другой.

– Заметьте, и дома их строены, как шатры, – присовокупил третий, – первое бедное основание зодчества!

– Мы все это исправим! Недаром же и звали нас сюда! – Мы построим дворцы, палаты, храмы. – Опояшем город великолепною стеной. – Внесем бойницы. – Начиним их пушками... О! через лет десяток не узнают Москвы...

– А что делает наш Фиоравенти Аристотель? покуда видим груды кирпичей на горе и под горою.

– Собирается на дело!.. – воскликнул насмешливо один из спутников, покручивая ус.

– Десять лет думает, а в одиннадцатый придумает...

– Зато и творит вековое, а не поденничает, – перебил Антон с благородным гневом. – Кто из вас помогал ему выпрямить колокольню в Ченто? Вы только зевали, когда он сдвигал *del tempio la Magione*!<sup>25</sup> Вырастите до него, и тогда померяйтесь с ним. А теперь... берегитесь!.. он одним гениальным взором вас задавит.

– Люблю Антонио за обычай! – воскликнул один из толпы, средних лет, до сих пор хранивший насмешливое молчание. – Люблю Антонио! Настоящий рыцарь, защитник правды и прекрасного!.. Товарищ, дай мне руку, – присовокупил он с чувством, протягивая руку Эренштейну, – ты сказал доброе слово за моего соотечественника и великого художника.

Начавшие хвастливый разговор замолчали, пристыженные речью своего товарища. Вероятно, не смели они затеять с ним спор, из уважения к его летам или дарованиям; а перед упреками Антона смирились, потому что могли всегда иметь в нем нужду, да и рыцарский дух его не терпел жестоких возражений. Тот, который подал ему руку в знак своего удовольствия, был будущий строитель *Грановитой палаты*.<sup>26</sup> Другие спутники были *стенные* и *палатные* мастера и *литейщики*.

И вот стали они подъезжать к Москве.

Прошло первое неприятное впечатление обманутой мечты, и Антон утешился. Разве для мертвых зданий приехал он в страну отдаленную? разве любопытство влекло его туда? Любовь к человечеству, к науке, к славе – вот что указало ему путь в Московию. Человек слабый требовал к себе на помощь человека более мощного, и он шел на зов его. «Кому дано, с того и спросится», – говорит сам Христос. «Свет, которым он наделен, должен передать другим, покуда он в долгу у человечества. Может быть, труды великие ожидают его, а без труда нет подвига».

Воображение, настроенное этими утешительными мыслями, представило ему панораму Москвы через стекло более благоприятное. Он привел в нее весну с ее волшебною жизнью, заставил реку бежать в ее разнообразных красивых берегах, расцвел садами и дохнул на них ароматом, ударил перстами ветерка по струнам черного бора и извлек из него чудные аккорды, населил все это благочестием, невинностью, любовью, патриархальными нравами, и Москва явилась перед ним, обновленная поэзией ума и сердца.

---

<sup>25</sup> Колокольню святой Марии в Болони.

<sup>26</sup> Алевиз.



В таком расположении духа въехали они в село Дорогомилово. Мальчишки, игравшие на улице в снежки, встретили путешественников восклицаниями на разные голоса. Иные кричали: «Жида! собаки! Христа распяли!» Другие: «Татаре-бояре! бояре-татаре!»<sup>27</sup>

– Что кричат эти мальчишки? – спросил Антон своего извозчика, понимавшего русский язык.

– А что они кричат? – отвечал жид. – По-немецки это значило бы: «Здравствуйте, дорогие гости!»

И вслед за тем дорогих гостей приветствовали комьями снега. Потом высыпали из домов разноцветные включенные бороды, бараньи шапки, лапти, овчинные в заплатках тулупы, рогатые кички, и все это с лицами, очень неблагоприятными для путешественников. Правда, выглядывал кое-где карий глаз из-под черных бровей красавицы, готовой навестить и праведника на грех; улыбка малиновых губставляла напоказ ряд жемчужных зубов; выступали и статные молодцы, которых Наполеон с гордостью завербовал бы в свои легионы; но между ними ненависть к иноземцам означалась резкими насмешками. Не для путешественников, однако ж, выступили они толпами из домов; нет, они стремились в Москву как будто на потеху, на которую боялись опоздать.

– Поспешайте, окаянные басурманы! – кричали они проезжим. – Насилу-то владыки образумились жарить вас... Поспешайте, и вам место будет!

Еврей выгадывал недоброе из этих угроз. Зная, однако ж, что показать страх – напроситься на беду, отвечал с твердостью:

– Кому дурно, а нам будет хорошо! Мы везем к великому князю строителей церковных.

– Исполать господину нашему Ивану Васильевичу! якшается ныне на свою голову с жидами да с басурманами! – закричал один из толпы.

– Валит дома пресвятой богородицы, а на место их ставит палаты и терема боярские да псарские да сады садит, – прибавил другой. – Беда земская, да и только!

– Иное место свято, где был дом божий, и по сию пору не огорожено, – подхватил третий, – собаки, прости господи, бегают по нем...

– Оттого и пожары московские.

– И страшные видения на небесах.

Так говорил в то время народ русский, недовольный нововведениями и сближением с иностранцами, но говорил там, где знал, что речи его не дойдут до великого князя, который не любил, чтобы ему поперечили или осуждали его дела. Роптали заочно, в глуши, но в самой Москве бояре и народ ходили ниже воды, тише травы. Антон, не понимая речей слободских жителей, догадывался, однако ж, по недоброжелательству, которое выражали их лица, по суровости взглядов, бросаемых на проезжих, что тут живут не кроткие дети времен патриархальных.

Дорога ввела их в бор, опоясавший город. Кресты деревянные, довольно частые, то по дороге, то поодаль в глуши леса, возбуждали в итальянцах мысль о набожности русских; но к этой мысли примешалось бы и чувство ужаса, когда б они знали, что под крестами похоронены несчастные, зарезанные ножом или удушенные петлею. Не только в отдаленное время, но еще и в конце XVIII столетия леса, окружавшие Москву, укрывали шайки разбойников, и душегубства были нередки.

Мост через Москву-реку, устроенный на козлах, качался от повозок, будто эластический. Немного далее, за селом *Чертолином* (ныне Пречистенка), въехали они в посад *Занеглинье*. И тут ничто не предвещало столицы великого княжества. Смиренные домики, избушки на курьих ножках, кое-где лачуги, наскоро складенные на пепелищах после недавнего пожара, церкви и

---

<sup>27</sup> И доньше в некоторых деревнях Тверской губернии встречают этим приветствием проезжих, вероятно, в память прежних своих властителей, татар.

часовни во множестве, но все деревянные и бедные, с огромными навесами кругом, какие и ныне видим еще кое-где в степных деревнях; тот же народ в овчинных шубах без крыши, множество нищих, калек, юродивых у часовен, на перекрестках, все это не было утешительным предметом для наших путешественников.

Лишь только подъехали они к Кучкову валу, идущему от Сретенского монастыря по Москву-реку, на реке, за Великой улицей (набережной, в стороне Кремля), поднялся дымный столб, все гуще и гуще, так что новые струи дыма образовали исполинскую витую колонну, с украшениями небывалого ордена, подпиравшую небо. Художники несколько минут любовались этим чудным явлением, которому пламенное воображение юга придавало творческую существенность, и мысленно снимали его на бумагу. Напротив, Антон рассматривал его с каким-то грустным предчувствием, хотя соглашался с товарищами, что не пожар причиной этого явления.

У въезда в Великую улицу встретило путников несколько приставов, посланных от великого князя, вместе с переводчиком, поздравить их с благополучным приездом и проводить в назначенные им дома. Но вместо того чтобы везти их через Великую улицу, пристава велели извозчикам спуститься на Москву-реку, оговариваясь невозможностью ехать по улице, заваленной будто развалинами домов после недавнего пожара.

При спуске на реку путешественники могли уже разглядеть, что дымный столб образовался из костра, зажженного на самой реке. Не праздник ли какой, остаток времен идолопоклонства? Не пляска ли вокруг огня? А может быть, не сожигается ли по-индейски неутешная вдова?... Народ кричит, смеется, плещет рукавицами; видно, готовится для него потеха.

У самого костра, за невозможностью ехать далее по тесноте народной, остановили повозки. Чудное зрелище ожидало гостей.

Пылал костер сажени две в ширину. В противной стороне слышались радостные, торжественные восклицания. Множество людей везло на себе что-то огромное. Не колокол ли? Но как скоро двуногая упряжь расступилась, увидели клетку с решеткою из толстой железной проволоки и сквозь нее двух человек. Один был молодой, другой – старик. Отчаяние в глазах их, моления, пылающий костер, железная клетка, радость черни... о! наверно, готовится казнь. Западню с полозей долой и прямо на пылающий костер. Огонь, задавленный тяжким бременем, нетерпеливо закурился; днище начало коробиться и вскоре затрещало. Из клетки слышался стон. Сердце путников оледенело, волосы встали дыбом. Антон и его товарищи просили приставов освободить их от печального зрелища. Им на это отвечали только, что в пример другим совершается казнь над мерзкими, богопротивными изменниками, литвином, князем Иваном Лукомским, и его сообщником, толмачом Матифасом, которые хотели отравить великого государя, господина всея Руси, Ивана Васильевича. Антон стал, через переводчика, объяснять с жаром свою просьбу. Ответа не было.

– Всемогушим богом, – кричали осужденные, кланяясь народу, – нашим и вашим богом клянемся, мы невинны! Господи! Ты видишь, мы невинны, и знаешь наших оговорщиков перед великим князем... Мамон, Русалка, дадите ответ на том свете!.. Иноземцы, несчастные, зачем вы сюда приехали? Берегитесь... Во имя отца и сына и...

Дым обвил их своими складками и задушил слова на устах несчастных.

– Эк мычат! – кричали зрители.

Москворецкий мост, в виду которого происходило ужасное зрелище, кряхтел под народом; перила, униженные им, ломились от тяжести напора. Напрасно старики и недельщики остерегали смельчаков, слышались только отважные голоса русского фатализма: «Двух смертей не бывать, одной не миновать». И вслед за тем перила затрещали и унесли с собою десятки людей на лед Москвы-реки. Многие ушиблись до смерти.

В это время огонь выбежал на свободу из-под клетки и распустил по ней свои многоветвистые побеги. По днищу разлился пламенный поток. Сквозь пламя означились две темные

фигуры. Они крепко обнялись... пали... и вскоре от них ничего не осталось, кроме пепла, которым ветер засыпал очи зрителей. Железная клетка вся озолотилась; по оранжевым прутьям ее бежали кое-где звездочки и лопались, как потешный огонь.

## Глава X ВЕСТОВЩИК

*Что ты за человек?  
– Художеств столько я имею  
за собою,  
Что, кажется, рожден всеобщим  
быть слугою.  
Весь свет моя родня, я свет прошел  
кругом;  
Достатка не имев, кормился  
языком;  
Живу же, как и все, согласно  
с нашим веком,  
То плутом иногда, то честным  
человеком.*

*Хмельницкий*

– Приехал! приехал! – раздалось в палатах Образца, и все, что было живущего в доме, кроме сына его, испуганное, бледное, дрожащее, сперва ахнуло, потом засуетилось. Хотели идти, ноги подкашивались; хотели приказывать, передавать приказания – губы издавали только звуки без слов. Наконец опомнились, отворили ворота. Что ж? это еще не он, не страшный постоялец, а великокняжеские слуги с хлебом-солью от Ивана Васильевича. Несли на блюдах по несколько пар кур, гусей, индеек, свинину, перепечи, ведерку фряжского вина и – всего не исчислишь на листе, что принесли, как будто для продовольствия целой десяти. Привели также и коня, богато убранного, в дар лекарю. Распоряжал этим поездом боярин Мамон, напросившийся на него, чтобы иметь случай всею тяжестью лица своего налечь на сердце Образца. Когда этот узнал о появлении ненавистного человека в своем доме, тотчас отдал приказ домо-чадцам не делать никакой встречи лекарю. Сыну ж строго запрещено вступать в ссору со врагом их, тем более что Хабар освобожден был за поручительством отца из-под стражи, под которую взят за проказы свои. Зашипел санный поезд у ворот; процессия тронулась и стала на дворе в два ряда, чтобы встретить приезжего. Действительно, это был Антон. Выскочив проворно из саней, он благодарил Захария за хорошее доставление его на Русь и хотел дать ему денег, но жид не принял их, сказав только:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.